

Воспоминания – это, наверное, и есть та глина, из которой лепится человек. Иные из них впечатываются в память навечно, иные выветриваются так же, как выветривается дым с места пожарища – за несколько дней. А некоторые, подчас самые значимые, рушатся тут же.

Нет, они не исчезают – они именно рушатся: их настырные отголоски живут внутри, дают о себе знать во снах или мимолетных видениях, но в целостную картину не складываются. Тогда приходится прибегать к особым средствам: прикасаться к старым вещам, искать знакомые запахи, наконец, вести записи, пытаюсь восстановить чётко определённую последовательность деталей.

Я, пожалуй, оттого и сел писать, что мне захотелось непременно вспомнить одну историю. Верите ли, всего только год прошёл, а я начал постепенно забывать, пусть и не сами события, но дух их – настроение, витавшее тогда в воздухе, заражавшее смутной тревогой и желанием чего-то невероятного.

Впрочем, первое, что всплывает передо мной, стоит лишь закрыть глаза и обратиться к памяти, довольно прозаично для здешних мест и никакой тревоги не вызывает. Разлившаяся от бесконечных дождей река и человек на берегу. Я запомнил его. Он был молодой, окружённый едва уловимым сиянием и умел творить чудеса...

Из авторского дневника, март

I

Земля стояла мокрая и рыхлая.

По этой земле, с трудом избегая падения, шёл отец Павел – ступни его, закованные в грубые сапоги, при каждом шаге вязли, прилипали на миг к поверхности и вдруг начинали ехать, как по катку, отчего тело Павла вздрагивало, а откуда-то снизу доносился такой звук, будто что-то лошнуло и брызжет, брызжет слюной.

Священник опирался на трость, но та, подобно сапогам, то намертво застревала в грязи, то скользила по ней, так что нисколько не спасала.

Лицо Павла изъедено было мелкими морщинами, у глаз же и под подбородком они становились глубже, напоминали затянувшиеся добела порезы. Глаза были немного обесцвеченные, серые, и лицо, и вся кожа на теле

тоже казались сероватыми. Редкая борода стала по груди ровной, без волн, почти до середины живота. Спина сторбленная, скорее от усталости, чем от болезни. Вся одежда измята, креста нет (крест священник надевал тогда только, когда прихожане могли его увидеть, теперь же утро, слишком раннее для встреч).

Он шёл с прогулки, обычно совершаемой сразу после восхода солнца, лениво озирался по сторонам да то и дело глядел себе под ноги – глину на пустыре совсем размыло.

Отец жил в церкви, в помещении, отведённом специально, в маленьком селении, почти примыкающем к городу. В округе было раскидано ещё несколько деревень, все друг на друга похожие, дальше тянулись нескончаемые леса, ещё дальше – болота.

Священник торопился – вместе с ним обитал безногий, которого нужно было лечить, давать пищу, регулярно менять постель и всячески проявлять заботу. Здесь можно обнаружить некую иронию, ведь ноги у человека, получившего прозвище «безногий», были, только не ходили совсем.

Он обитал здесь недавно – с тех пор, как посетил этот приход около трёх месяцев назад, тогда ещё, что называется, на своих двоих. В церкви скопилось слишком много народу – целая толпа. Собравшихся охватил невиданный религиозный восторг, все словно сошли с ума на мгновение и с песней на устах ринулись из притвора внутрь, ближе к середине. Одного же юношу затоптали, но не до смерти, а так, что он потерял вдруг всяческую способность ходить. Его-то священник и приютил, повинувшись странному душевному порыву.

Покалеченного во время службы человека, молодого, крепкого и в общем здорового, если бы не отказавшие самым неожиданным образом ноги, поместили в заднем крыле прихода, на койке, сплошь завешанной с одного боку тряпьем, а другим упиравшейся в стенку. То ли случайно, то ли по злему умыслу, место это – заднее крыло – оказалось в церкви самым холодным. Юноша сопротивлялся холоду довольно долго, однако в начале лета силы иссякли – его поразили страшный кашель, раздражающий в кровь дыхательные пути, и нестерпимая боль в груди, да такая, что не мог он уснуть от неё. Затем полилась изо рта мокрота, ржавая и густая, лицо покраснело, осунулось, в глазах появился опасный, лихорадочный блеск.

Наконец, когда больной стал заговариваться, а в минуты просветления жаловаться на то, что боль становится невыносимой; когда начал он вдруг громко стонать по ночам, на-

рушая чуткий сон священника; когда жар ничем уже не удавалось снять – служитель вынужден был поместить подопечного с собою в одной комнате, светлой, щедро отапливаемой и далеко не такой влажной, как та, прежняя.

На протяжении этого времени, с первых признаков недуга, отец Павел молился за больного, поил отваром чабреца и других трав. Однако лишь после переселения дело пошло на лад. Крови больше не было, воспаление и связанные с ним неприятные ощущения загладились.

Безногий успел на тот момент невзлюбить своего попечителя, заметив в чертах его какую-то едва уловимую, но ядовитую неискренность, однако за лечение поблагодарил. Тем более что, хотя отец Павел долго обитал в деревне, и был некоторый период особо почитаем среди местных, подобной доброты от него до сих пор никто не видел.

О том же, что это была за деревня, и каков был больной, поселившийся в церкви, объясним отдельно.

Деревня располагалась на востоке от города, в четырёх или пяти километрах, и с некоторых пор являлась местом притяжения верующих со всей округи. Представляла собой территорию, застроенную несколькими десятками жилых домов – это по большей части были избы – со зданием управления в центре. Управление, впрочем, давно съехало. Церковь отца Павла располагалась на окраине, в затопленной низинке. Собственно, это была не церковь даже, а скорее часовня с помещениями для приюта и жилья. В стороне и ещё ниже стояла колоколенка.

Именно церковь – «благоухающая пещера», как назвал бы её философ¹, – притягивала прихожан из соседних поселений. Ничего, впрочем, особенного в той церкви не замечалось, даже наоборот – стены её порядком обветшали, краска с них отшелушивалась, иконы поблекли, подобно старинным фотографиям, и вообще чересчур было тесно для большого скопления народа.

И, однако же, в последних числах марта начался грандиозный наплыв посетителей, не прекращавшийся вплоть до конца апреля. Затем дни служб сокращены были до двух в неделю с той отговоркой, что, мол, здоровье местного священника ухудшилось. С наступлением же лета отец Павел находил в себе силы принимать большое количество прихожан лишь по воскресеньям. На момент, нами описываемый, подобные сцены сошли на нет – люди охладели.

Но что повлекло за собою этот великолепный наплыв, что стало притягивать людей в древний нищий приход на окраине?

Чудо, разумеется. Чудо и умение отца Павла читать превосходные, гипнотические проповеди.

Тогда был ещё март, ветренный и со снегом, и центральный в иконостасе образ Спасителя вдруг зарыдал, залил кровавые слёзы и не успокоился до тех пор, пока струи тёмно-красного не растеклись по полу.

Обнаружил икону в таком состоянии, ясное дело, сам отец Павел, немедленно сообщивший епископу и в управление. Власти, пытаясь найти разумное объяснение произошедшему, отправили солдат искать в окрестностях города бескровный труп. Те ничего не нашли.

Искушённые умы пророчили тогда голод, мор, жуткие эпидемии, звездопады, затмения и ещё чёрт знает что – мол, лики святых рыдают, быть большой беде! Никому почему-то не пришло в голову, что окропить иконостас кровью животного для отца Павла особого труда не составило бы, ибо он вообще полагал, будто никакое изображение не способно в принципе заплакать, потому как откуда же в нем возмущаются слезоточивые железы, притом такого своеобразного свойства, чтоб кровь изливать?

Священник вовсе не отрицал чуда плачущих икон, но был абсолютно уверен, что творятся чудеса не десницею божьей, а неуклюжими человеческими руками. По крайней мере, сам он так и сделал, то ли чтобы привлечь внимание прихожан, то ли чтобы узнать – каково это, занять власть над людьми хотя бы на краткий миг.

Больной же у него поселился покладистый, тихий, молчаливый, без дома и родственников – бродяга. Отец редко заговаривал с ним откровенно, разговоры эти почти никогда не тянулись слишком долго и не касались внутренних переживаний собеседников.

На сей раз, вернувшись с прогулки, рассказавшись с бесполезной тростью и напоив юношу необходимым отваром, священник нарушил само собой возникшее безмолвие.

Прежде разговора он походил немного по комнате, от койки к окну и обратно, потом приставил рядом с больным стул, сел, откинувшись назад.

– Вас что-то беспокоит? – спросил безногий, без особого, однако, интереса, скорее, чтобы разорвать тишину, почти физически давящую на обоих.

– Да.

То обстоятельство, что священника одолевает беспокойство, бросалось в глаза. Во-первых, пальцы. Они сцеплены в замок, захлестывают друг друга, белые от напряжения. Эти сросшиеся кисти можно было сравнить с рыбой, выброшенной на берег – рыба такая же белая, трепыхающаяся, мокрая. Во-вторых, лицо: застывшее, с обострившимися чертами, каменное и почти омертвелое.

Кроме того, он никак не мог собраться с духом и выдавить из себя что-то ещё кроме сухого, гортанного «да». Раскачивался взад-вперёд, сам того не замечая, в такт какому-то внутреннему ритму, смотрел упорно в одну точку и молчал, а тишина за его спиной росла, ширилась и готова была раздавить.

¹ Под философом подразумевается Фридрих Ницше; в его произведении «Так говорил Заратустра» написано: «Церквами называют они [священники] свои благоухающие пещеры».

Из авторского дневника, март:

«Запахов того времени я уже не помню, а старых вещей у меня не сохранилось. Пришлось обратиться к способу наиболее сомнительному, точнее, наименее надёжному – записям. После недолгих раздумий я выбрал художественную форму (повесть, может быть?), поскольку вести дневник задним числом – глупая затея. Получится ли? Или выйдет нечто неряшливое, даже нелепое?»

Да, вероятно, это будет неряшливо. Но сама атмосфера тех мест, обилие легенд, слухов и странных происшествий заставляют меня писать по возможности складно, красиво, иными словами, *художественно*. О себе я буду говорить немного, по возможности в третьем лице – так я решил перед началом работы, чтобы избавиться от призмы личного восприятия. Восприятие капризно, даже в самый момент наблюдения за каким-либо действием или человеком оно способно перевернуть всё с ног на голову, извратить до неузнаваемости... что уж говорить, если пролетело время?»

– Так что же вас беспокоит, *святой отец*?

Павел едва заметно нахмурился, услышав неуместное обращение², но никакого замечания не сделал – то ли из-за плохо скрываемого тщеславия, то ли чтобы не смущать гостя.

– Некоторые обстоятельства, – пространно пояснил священник. – Только обстоятельства эти ещё не вполне ясны мне, ещё не происходят... предчувствие своего рода.

Тут Павел почему-то заволновался, осмотрел комнату новым, диким взглядом, словно видел впервые, и начал о другом:

– Погоди-ка, ведь мы с тобой и не общались никогда толком! Ужасное упущение, знаешь ли, вот так сидеть под одной крышей и не разговаривать.

– Разве?

– Беседы помогают людям лучше друг друга понимать. Ты, может, и не согласен со мной, может, не хочешь вовсе...

– Отчего же, я слушаю.

Но отец явно не знал, с чего начать, буд-то и весь разговор затеял только для того, чтобы спастись от гнетущей, почти осязаемой тишины за спиной. Подумав, он схватился за ту единственную соломинку, которую сумел ухватить в толчее собственных разбегающихся мыслей:

– Ты... как давно путешествуешь?

– Сколько себя помню. С детства.

– И дома у тебя, выходит, нет?

– Нет. И родных тоже нет.

– Как же без дома?

– Не настолько сложно, как думают многие. Я прихожу в одно какое-нибудь селение, ищу там работу по себе, живу у хозяев. Иногда попадаются заброшенные избы – живу в них.

– Да разве можно хорошо устроиться в заброшенной избе?

– Всё равно большую часть времени проводишь на поле или в мастерских. На вырученные деньги можно перебраться в другое место.

– Ну да, – Павел кивнул и криво, невесело улыбнулся. – Когда гонят в одном доме, ты идёшь в другой. Но люди давно уже так не живут. Ты же видел эти огромные города с их магистралями, заполненными нескончаемыми потоками машин, с сияющими огнями и невыносимым шумом на каждой улице? В них хотят жить люди. Они рождаются там или приезжают из поселков и стремятся застолбить место. А ты как ветер.

– Мне, в общем, нравится, – с неохотой ответил безногий.

– А что же твои родители? Умерли?

– Умерли. Я их и не помню толком.

– Ты совсем молод, разве можно позабыть отца и мать? Хотя... в юности это проще всего происходит, верно?

Безногий ничего не ответил, только головой кивнул неуверенно, и священник продолжил:

– Я-то своего отца часто вспоминаю теперь. Он был богатый человек, ктитор... ты хоть знаешь, кто такой ктитор? Такие люди обычно выделяют деньги на строительство храмов и монастырей. Мой отец всегда помогал церкви. А сам, видишь ли, дела вел не очень честно – нажить значительный капитал сложно, если людей не дурачить. Так вот он церквушку построит, провернёт несколько сделок и в свою же церквушку, построенную то есть, идёт потом на исповедь. И всё рассказывает – как воровал, как обманывал, как квартиры у людей по подложным бумажкам отсуживал...

– Почему же вы здесь прозябаете? Почему не в столице, если ваш отец обладал какой-то властью?

– Я был в столице, пока родитель мой не помер да пока сам я не состарился. История, впрочем, долгая.

Павел отошёл к окну. Оно выходило на ту сторону, где была колокольня, потому священнику открылся вид на затопленную низинку, поросшую ряской. Небо отяжелело, приобрело свинцовый, неприятный оттенок. Отец провел так немного времени – может, полминуты, – затем вернулся к больному, но, потеряв нить разговора, принялся опять о другом:

– Небо такое... как штукатурка. Скоро дождь – сегодня или завтра с утра. Ох, и куда нам опять дождь, и так земля от воды киснет.

– Так в чём история, *святой отец*? – напомнил о себе безногий.

² В православной традиции неприемлемо обращение «*святой отец*» по отношению к священнику. Чаще всего обращаются «отец (имя)», в неофициальных случаях уместно также говорить «*батюшка*».

Павел услышал неверное обращение повторно и мысленно одобрил его – всё-таки тщеславие. Однако тема, на которой настаивал подопечный, священнику явно не нравилась, и он попытался уйти от ответа банальной отговоркой:

– Да суета в Городе.

– Но вам же нравилось там.

Служитель насторожился, поскольку вопросительной интонации в голосе безногого не заметил, и сказал язвительно, с явной злостью:

– Неужели? О, вероятно, тебе лучше знать, о чём я думаю!

– Понимаете, в своих путешествиях мне нравится посещать необычные места, наблюдать невиданные явления. Конечно, когда по окрестностям поползли слухи о плачущей иконе – я не мог не прийти сюда. Да вы и сами знаете – я упал в толпе... помню, лица у собравшихся были странно перекошенные, как от бесовщины.

– То из людей бес выходил.

– Бес ли? – юноша внезапно оживился. – Ведь без прихожан вы просто чахли! И, видимо, изобрели своеобразный способ их привлечь. Я вас не осуждаю, я сам ни во что не верю. Но для священнослужителя это... скажем, большая смелость.

– Догадался, значит, – мрачно проговорил Павел. – Впрочем, разве ты кому расскажешь?

– Да кому рассказывать-то! Можете даже не беспокоиться, незачем. Вот только интересно, для чего вы это сделали.

– Меня... – священник запнулся, как бы собираясь с мыслями. – Меня кое-кто попросил.

– Надо полагать, это и есть причина вашего беспокойства? Страх перед последствиями?

– О нет, нет, – священник рассмеялся, громко и хрипло.

– Тогда что же вас тревожит?

Священник решил не отвечать. Вместо этого он выдержал довольно долгую паузу, пожелал подопечному скорейшего выздоровления, поднялся со стула и собирался выйти из комнаты, но безногий остановил его:

– Вы ни разу не упомянули о Боге, святой отец.

– Не было надобности, ведь ты неверующий.

– А вы?

Вновь ничего не ответил священник – нахмурился, тяжело выдохнул и хлопнул дверью.

Весь последующий день с больным он не обмолвился ни словом и вообще пребывал в мрачном расположении духа. Прихожан, впрочем, принимал (всего два или три раза), под вечер отправился даже в Город исповедовать одного умирающего (тому непременно хотелось перед смертью видеть отца Павла, церковь которого он посещал в период кровавого плача).

Внутренняя священик поздно. Почти сразу лег спать, не поужинав, и погрузился в липкую дрему. Тревога, правда, не отпускала его даже во сне, потому, проснувшись среди ночи от гулкого стука собственного сердца, старик решил завтра же проверить свои опасения – по возможности, опровергнуть.

III

Встал отец Павел явно не в духе и необыкновенно рано – до рассвета оставалось два часа. Его подопечный отдыхал, закутавшись в огромное, плотное одеяло, у стены, на койке за тряпичной ширмочкой.

Был совершенный мрак, шёл дождь, и отец обрадовался дождю. Конец месяца выдался слишком жаркий, стояла невозможная духота, отравляющая людей своим прогорклым привкусом, и дышать полной грудью удавалось только во время ливней. Конечно, когда всё успокоится, тучи изольются и исчезнут, а небо просохнет, влага от полуденного зноя начнет испаряться с земли, и от этих испарений вновь сделается душно, но тем утром Павел радовался свежести. Она напоминала об очищении.

Из-за заболоченности мест дождь принесёт больше бед, чем пользы, но это забота скорее прочих жителей – священника их участь особо не волновала.

Отец зажег тусклый фонарь, висевший у крыльца, под навесом. С навеса и фонаря стекали струи воды, отчего ступени у входа сделались скользкие, быстро промокли, разбухли, проглотили влагу с помощью многочисленных глоток-щелей. Захлебнулись, изошли пеной – в разрывах гнилого дерева созревали, подобно плодам, белые пузыри. Они наслаивались друг на друга и соскальзывали вниз, к земле, сплошным потоком. Так течёт пена изо рта эпилептика.

Священник по своему обыкновению принёс воды из колодца (сегодня воспользовался плащом, который, впрочем, всё равно промокал), умылся ею, прибрался, протёр иконы. Надо сказать, избавиться от следов крови он не особенно старался.

Потом поел, оставил завтрак безногому и отправился в соседнее поселение.

Нехорошее предчувствие терзало Павла на протяжении последних дней. Ему казалось теперь, будто неизбежно падение; будто вот-вот должно произойти нечто необычайное и чудовищное, отчего повседневный уклад жизни обречен был именно *пасть*, а вместе с ним неизбежно пал бы и сам священник, вместе со своим тщеславием, с убогой церковкой, благодаря кровопролитию сделавшейся в одно мгновение святыней, с мнимым величием, так долго возводимым и, тем не менее, хрупким, несмотря ни на какие старания, с иконами, давно умерщвлёнными, надуманной верой и тем крохотным злом, которое отец с нескрываемым удовольствием приносил в мир.

Так нет же, нет, нет, тысячу раз нет! Он не хотел этого, не собирался соглашаться с та-

ковой участью. Разве заслужил он столь ужасное наказание? За что? Разве не помогает он людям, разве не следит за выполнением ими обрядов, не почитает Господа! И разве не у него, в самом деле, лежит на кровати в общей комнате харкающий кровью, высокомерный больной!

Священник шёл промокший до нитки, избитый каплями дождя (они подобны камням для него), со склеенными бородой и волосами. Дождь поливал землю обильно, земля размокала и буквально растекалась под ногами, уже не в силах сопротивляться никакому давлению.

Отец Павел опирался на трость – он, как нам уже известно, всегда брал трость для прогулок, хотя не хромал нисколько.

Изрезанное же морщинами лицо его преобразилось – во все его трещины, рассечения затекла вода, так что создавалось обманчивое впечатление, словно слугитель плачет.

Отец отправился к мосту – нужно было перейти его, и там, за рекой, начиналась деревня, где жил пророк.

Пророк предсказывал, и предсказывал верно, а Павлу как раз понадобилось вдруг предсказание.

Сама деревня располагалась у берега, настолько близко к реке, что основания некоторых зданий почти полностью были под водой, а в случае, если уровень повышался – на полу возникали лужи, ручейки, иногда небольшие затопления. Поэтому в деревне не любили дождь.

Священник тут же вспомнил один весьма интересный случай, два года тому назад. В ту пору, весной во время паводка, земля у реки так сильно пропиталась влагой, что сделалась очень мягкой, податливой, вроде земли у болот, и даже разжижилась, – какая-то изба тогда осела и провалилась в воду.

Поначалу, впрочем, дом лишь немного накренился, и хозяин, одинокий человек, бывший здесь на поселении, начал выдумывать, что бы такое изобрести для придания дому равновесия. Он принял несколько отчаянных попыток укрепить фундамент, однако попытки эти оканчивались обычно не слишком удачно, а вследствие последней вдовец настолько увяз в размокшем грунте, что местные вынуждены были вытаскивать его при помощи веревки.

Владелец тонущего дома занял комнату у соседей, за определённую работу. Вскоре стало известно, что на поселение его отправили после длительного заключения и что он будто бы убил жену, потому в комнате отказали, и несчастный исчез в тот же день. Вообще-то многие тамошние жители были когда-то преступниками, людьми отчаявшимися, остушившимися, ведь деревня раньше стояла аккуратно между старообрядческим скитом и колонией поселения; скит затем стал частью деревни, а колонию упразднили, и обитатели её нашли своё прибежище у берега реки – убийцы среди них, кажется, не встречались, а если и встречались, явно не те, которые подняли руку на соб-

ственной жену, потому бедолагу, потерявшего жилище в речной мути, и прогнали.

Дом к тому времени лежал уже на боку и наполовину ушёл под землю. Окна камнями выбили дети, стали пробираться вовнутрь. Прятались там от родителей в случае, если их ожидало наказание, играли в пиратов, сидя на крыше, как на палубе, и управляясь с воображаемым рулевым колесом; рассказывали страшилки, убегая в дом на целые ночи, разумеется, тайком. Да мало ли чем могли занять себя сорванцы в месте, столь для них привлекательном! Внутреннее устройство опрокинутого строения, его постоянные мрачность и таинственность представляли неплохую возможность как поиграть в прятки, так и позабавиться немного над домашними духами, вызывая последних всякими детскими заклинаниями.

Потом какая-то глупая речная птица установила на месте бывшего навеса от дождя гнездо, а через четыре дня дом исчез навеки вместе с гнездом, птицей, большим куском берега и нечаянно уснувшим внутри ребенком, который в очередной раз убежал из дома. Мать потонувшего мальчика едва не рехнулась от горя, но после длительного траура вдруг предложила мужу утешиться, то есть зачать заново, и страсти по дому улеглись. Место трагедии осветили (сам отец Павел присутствовал на процедуре), установили небольшой крест, высотой метра полтора, укрепили немного почву да сделали кругом изгородь.

С тех пор, когда вода уходила, на свет появлялся краешек проглоченного дома, гладкий, мокрый, покрытый водорослями и улитками, часто мёртвыми. Одиноким выглядел он из воды у самого берега, мучимый, омываемый потоком. На вершине этого деревянного, полусгнившего кусочка собирались маленькие капли, щедро разбрасываемые рекой. И собирались они подобно слезам, будто плакал потонувший дом, будто сожалел о чём-то и безумно горевал, и ненавидел досаждающие своими ударами волны.

Иногда – в особо ветреные часы – волны перескакивали через него, образуя подобие сгорбленной спины, или вовсе затопляли. Тогда бурной становилась река и разливалась, наступала на строения, размывала землю под ними, и шатались дома от порывов ветра, не ураганного, но всё же достаточно сильного, чтобы произвести разрушения, а люди спешили покинуть свои ненадёжные обиталища.

Если в такое время начинались проливные дожди, заливало первые этажи зданий, поэтому жилые комнаты размещали обычно на втором или третьем.

Люди просили в молитвах о прекращении, о засухе, просили усмирить стихию, разбить тучи, давящие небо; люди кричали волнам: «Прочь!», в надежде, что те услышат и отойдут, и втайне проклинали судьбу.

Когда-то, впрочем, река была тиха и спокойна, и далека от строений. Но потом вдруг разлилась, подступила вплотную к селению, сожрала пляж. Истинной причины никто не

знал, однако местные поговаривали, будто это наказание свыше. Если какой-нибудь случайно забредший путешественник пытался расспрашивать, за что именно наказание назначено, обычно отвечали: «Бог карает нас за Справедливое судейство и прочие, учинённые не от Его имени», но что подразумевалось под справедливым судейством, неизвестно – слухи только ходили, впрочем, тоже весьма неопределённые.

По другой версии, более распространённой за пределами деревеньки, река разлилась после того, как севернее на её берегу начали какое-то производство – вроде бы там рыли шахты, а отработанную землю тут же, в реку, сбрасывали, что привело к повышению уровня воды.

Вспоминая все эти подробности, отец Павел за час с лишним преодолел расстояние, отделявшее его от цели, и на рассвете оказался у моста. Деревенские собаки встретили гостя не слишком дружелюбно – тревожным, неистовым лаем.

Отец постоял с минуту, погружённый в раздумья, и ступил на мост. Проклятые псы напугали его.

Дождь полил сильнее, забарабанил мелкой дробью по настилу, изрешетил поверхность реки. Священник ускорил шаг, тут же скользнул, едва не упал – мост был скользкий от водной плёнки, покрывшей его однородным, жирным слоем.

Павел шёл вымокший, плащ прилип к телу и натирал теперь. Впрочем, он верил с недавних пор, будто дождь очищает, потому не слишком огорчался. Куда более служителя беспокоило странное, неприятное предчувствие, донимавшее в последнее время. Павел знал, что пророк подтвердит его опасения и, возможно, предскажет скорую смерть. Однако это, вследствие какой-то внутренней отягощённости, не особенно тревожило. Понастоящему отец боялся событий куда более страшных и значительных, чем смерть (в конечном счете, смерть есть неизбежный итог). Он не знал ещё, какого именно рода драма должна здесь разыгаться, ни масштаба её, ни с чем это связано – надеялся расспросить предсказателя – однако в неизбежности чего-то ужасного уверился совершенно. Предчувствия редко обманывали его. Грядущее же событие, по мнению священника, повлечёт за собою сотрясение многих основ здешнего уклада, вывернет общество наизнанку, сокрушит... но что же, что это такое?

А всё вокруг стало медово-горьким от дождя.

IV

Пророк обитал в пристройке больницы, что стояла на окраине, далеко от берега. Собственно, саму больницу закрыли около полувека назад, потому ныне она пришла в негодность.

Недавно крыша ветхого здания обвалилась, и только после этого местные жители

как-то поухилили с разговорами о том, будто бы по ночам из больницы доносятся крики, множество голосов и вообще – показываются призраки. Рассказням же о призраках в деревне верил всякий. Потому, наверное, что подобные слухи развлекали обыденную сельскую скуку; да и, кроме того, описания духов, следующие из разных источников, по большей части совпадали. Почти все очевидцы (их причастность, впрочем, весьма сомнительна) упоминали о женщине в белых одеждах, сотканных из некоей загадочной субстанции, вроде тумана, о голом мужчине без головы и с крыльями за спиной (иные говорили, крылья эти опалены), да ещё о двух девочках с прелестными голосами, которые прилетали иногда по ночам к какому-нибудь окошку в доме, где есть дети, и будили их своим звонким смехом, а затем пугали, делали вид, будто стремятся попасть внутрь комнаты и вдоволь помучить маленьких обитателей...

Вследствие этой похожести описаний жители деревни, несмотря ни на какие научные опровержения – да и что, в самом деле, может наука, когда дело касается всевозможных суеверий, – продолжали опасаться призраков даже теперь, когда обвалилась крыша, и дряхлое здание превратилось в развалины, обнажив свои пустые, запыленные, самые заурядные недра. И хотя больше они не трубили о своих опасениях на каждом углу, не шептались об этом вечерами, встречаясь, – на многих домах до сих пор установлены были самодельные кресты. Те же, кто не осмелился поставить оберег на крыше, рисовали его углём при входе и окропляли порог, углы и двери всех помещений святой водой, а после тщетно пытались избавиться от внезапного нашествия мокриц и прочей мерзости, населяющей до краёв залитые жидкостью подвалы и погреб.

Пророка на месте не было – он ушёл к девушке, которую когда-то давно совсем маленькой взял на попечение.

Отец Павел вынужден был ждать, хотя оставаться в деревне на срок более часа не желал. Он чувствовал себя здесь несколько неудобно (медово-горькое, мокрое давило на сердце и на лёгкие, замедляло кровь, ослабляло), да и местные не слишком жаловали чужаков. К тому же отец всерьёз опасался, что мост – единственную связующую нить между двумя берегами – скоро затопит, как затопило в ливневое время в прошлом году. Дождь вряд ли прекратится – нет, теперь он зарядил на несколько дней подряд. Служитель, впрочем, имел возможность нанять лодку, и теперь, когда он впервые подумал об этом, беспокойство его прошло.

Пристройка, где обитал провидец, снаружи выглядела ничуть не лучше развалившейся больницы (изнутри, надо полагать, тоже) – разве что крыша цела. На окнах скопилось грязь, одно вовсе было разбито. Штукатурка со стен везде почти отпала. Уголок дома был скошен так, словно его аккуратно срезали. Кирпичи, из которых сооружались некогда стены жилища, крошились, и бурая пыль от

них оседала на растительность, превращая свежие зеленые листья и траву вокруг в чаше, красноватые клочья. Стены были в трещинах, кое-где откровенно дырявые, потому зимой в пристрое царил холод, несмотря на печку, тоже дрянную. На территории стоял смог, и смог этот невозможно вонял гарью, как будто каждый день в течение многих лет подряд неподалеку что-то сжигали (отец не знал, что лет десять тому назад больничные палаты подвергли сожжению).

Место было неприятное.

Священнику здесь не нравилось, он совершенно не понимал, чем этот тщедушный уголок привлекает пророка.

Тот факт, что предсказатель обитал рядом с больницей, казался тем более странным, если учесть, что в деревне у него имелся небольшой дом – наследство от покойных родителей (ныне в нём жила падчерица).

Помнится, когда отец Павел впервые здесь оказался, то испытал страшное разочарование. Стараясь хоть как-то объяснить, в первую очередь самому себе, это удивительное переселение, Павел принялся высматривать нечто прекрасное поблизости, силой красоты способное затмить распостёртый кругом хаос – однако старания его пропали даром. Хотел услышать небесное пение, устраиваемое ангелами над старой больницей, но почему-то не услышал (да ангелы вовсе там не появлялись!). Наконец, служитель решил отыскать хитроумный расчет, приятную выгоду, которую уголок приносил своему обитателю – но никакой выгоды, никакого особенного расчёта не было тоже.

– Неужели вам нравится здесь? – спросил тогда отец, встретившись с провидцем – так, кажется, состоялась их первая встреча.

– Да, – ответил невероятный человек.

– Но почему, объясните же! – воскликнул сбитый с толку гость. Провидец промолчал.

Позднее разъяснил он, что в чаду и под присмотром воображаемых призраков чувствует себя в безопасности.

– Разве вас не любят? – осведомился священник. – Разве угрожают? Да и что могут они!

– Они могут многое, – говорил тогда пророк тяжёлым, уставшим голосом. – И они не любят меня. Это род развращённый, неистовый. Каждый день творят они беззаконие, но так, как дети – наивно, не подозревая о том, что творят беззаконие. И меня по-детски убьют. Потому скрываюсь в чаду да под тенью призраков.

Священник решил, будто это жестокая аллегория, игра слов: убьют, может быть, нравственно, загубят душу. О редких же случаях самосуда, творящихся в селении, он не подозревал.

Через некоторое время – вероятно, минут тридцать – явился провидец.

Он не пустил гостя внутрь пристройки, как никого никогда не пускал, кроме своей падчерицы (следует скорее именовать её доче-

рью). Это был не совсем ещё старенький долговязый человек, с реденькой длинной бородкой и реденькими же волосиками, которые свисали с его головы склеенными прядями. Был он насквозь вымокший и, кажется, тем довольный.

В глазах читалось безумие, сами глаза эти выглядели чрезмерно большими, выпуклыми, отчего напоминали стекляшки. И так же, как стекляшки, были они пусты, блестя неживым, мерцающим блеском. Вид пророка выказывал первобытную дикость и первобытную же нечистоплотность.

Внешность его, таким образом, не привлекала. Он являлся совершенным отшельником, изгоем.

Голосом обладал крайне низким, тяжёлым, с медным звучанием. Заговорил же так:

– Для чего марашь мой порог, отец? Для чего пришёл вместе с солнцем? Что тебе нужно?

Пророк посмеялся над своими словами, громко. Затем повторил вопрос и добавил:

– Я хочу скорее разобраться с тобой, мне не нужны здесь нечестивые люди.

– Ты, должно быть, ошибся, – едко заметил священник. – Ведь все знают о моём благочестии, ты можешь спросить любого прихожанина в моей церкви.

– Перестань паясничать, прошу тебя. Ты благочестив ровно настолько, насколько благочестивы животные, твоё благочестие позволяет тебе обмазать иконы грязной кровью быка, тобою убитого, и гордиться этим!

Павел сразу как-то сник и заговорил примирительно:

– Не горячись так. Я только убил молодого быка, это не преступление. Тебе ли не знать, для чего я это сделал!

– Зачем ты пришёл?

– Хочу знать, что меня ждёт. Твой дар, кажется, никогда не подводил.

– За то, что ты натворил, тебя должны отлучить.

– Это твоё предсказание?

Провидец улыбнулся, так широко, как только мог.

– Что ж, я скажу тебе другое предсказание, коли прежде не по нраву, – голос его прозвучал неожиданно высоко, совсем без меди, поранил своим звучанием слух священника. – Я скажу: бойся, отец Павел! Скажу: бойся, ибо кровью той ты вовсе не иконы запачкал, а себя, и до последних дней своих не отмоешься. Ты вспотел, тебе нужен платок, – провидец протянул гостю скомканную тряпку.

Тряпка была очень мокрая, темно-коричневого цвета, словно ей промывали чьи-то обильно кровоточащие раны, и грязная, будто после по ней топтались.

Отец неуверенно принял дар и тут же бросил на землю, побоявшись запачкаться.

– Подними, – велел пророк, – и протри лицо, чтобы пот не тек тебе в глаза.

Павел хотел сначала отказаться от сомнительной услуги, но провидец стал настаи-

вать и пригрозил, что, если не исполнит священник его повеления, разговор прекратится.

Тогда служитель наклонился, демонстративно опираясь на трость, коснулся кончиками пальцев тряпки с застаревшей кровью на ней, поднял, всем своим видом выражая такую огромную степень брезгливости, словно его заставили дотронуться до чего-то мёртвого, причём мёртвого достаточно давно, и провёл этим по лбу от виска до виска – там, где впоремешку скопились капли дождя и пота. Позднее, глядя на себя в зеркало, он заметит, что тряпка оставила на его лице несмываемые бурые пятна.

Отец бросил отвратительную ткань. Теперь он почувствовал, что от лица его пахнет, и что сама ткань несла в себе тот же запах – запах, истекающий обычно из мокнущих ран.

– Чего ты добивался подобным жестом? – говоря, священник ощупывал своё лицо, пытаясь определить, запачкалось оно или не запачкалось. – Ты хотел унижить меня?

– Нет. Я просто хотел, чтобы ты вытер пот. Иначе он полился бы тебе под веки, причиняя боль.

– Эта тряпка грязна, пророк! В чём здесь скрытый смысл?

– Скрытого смысла не было.

– У тебя во всём есть скрытый смысл! – вскричал Павел раздражённо, не в силах более сдерживаться.

– Теперь не было. Я дал тебе то, что ты заслужил. Отец, я столько тебя знаю, мне ли не угадать, чего ты в действительности заслуживаешь.

– Но ведь тряпка грязна, грязна невообразимо!

– Видно, другого платка ты не заслужил.

– Почему ты так говоришь! – истерические нотки послышались в этом возгласе: неумолимый пророк довёл-таки священника до бешенства. – Чем я виноват!

– Моя падчерица до сих пор боится тебя. А ведь она давно уже не ребёнок. Она выросла, моя падчерица, – тут он сделал многозначительную мину, словно намекал собеседнику на что-то, известное лишь им двоим, и повторил:

– Почему она боится тебя, как думаешь?

– Откуда мне знать!

Пророк заговорщически подмигнул ему и расплылся в ухмылке, совершенно неуместной.

– Ты пришёл за своим будущим, – сказал он. – Ты хочешь знать, потерпят ли твои честолюбивые замыслы крах? Хочешь знать, ожидает ли тебя падение? Порвётся ли та мерзкая сеть уловов и подлостей, что ты плетёшь, паук? О да, богобоязненный паук! О да, обрушится, – ликование отразилось в лице говорившего, безумный восторг, отчего блеск в круглых глазах усилился. – Я сразу увидел на тебе печать, во время прошлой нашей встречи. Страшен будет твой конец, и ты сам приблизишь его...

Проговорил он это воодушевлённо, на одном даже дыхании. Завершив же, сразу как-

то обмяк, сделался бледен, вял. Несколько дождевых капель попало ему в глаза.

Священник был перед ним, мокрый от дождя и холодного пота.

– Ты боишься падения, отец Павел? – спросил пророк, совсем не так, как раньше – гораздо тише и с придыханиями, будто запыхался после бега.

– Да, – признался тот, всё ещё сдерживая в себе нарастающую постепенно тревожность.

– Не бойся. Я дам тебе совет. Следи внимательно за всеми новыми людьми, остерегайся незнакомцев, наблюдай за ними, старайся понять, кто они, что за люди и чем занимаются. И если попадётся тебе врачеватель, способный излечить всякий недуг и от всякой напасти избавить, преклони перед ним колени, помолись и беги – скройся! От него умрёшь. Теперь уходи, отец Павел, иначе дождь зальёт всё вокруг, и останешься здесь на несколько дней.

– Я найму лодку.

– Ни один лодочник не поплывёт в такое ненастье. Поспеш.

Когда священник подходил к берегу, ещё издали он увидел, как огромные, разрушительные волны с силой набрасывались на прибрежные строения, откусывая от них щепки.

Весь мир, казалось, утопал в потоках дождя, и даже река взбесилась оттого лишь, что ей неприятно было в них захлёбываться.

По пути отец потерял трость и шёл теперь без неё, прошитый ливнем. Поначалу он пытался защититься от воды свои сидящие волосы капюшоном, но ветер несколько раз подряд срывал его. Одежда разбухла от влаги, липла теперь к телу, лизала тело.

На волнах болталась перевёрнутая лодка, расколота надвое, и какие-то люди внизу, в резиновых плащах, тщетно искали её потонувшего обладателя.

Отец направился к мосту. Грунт размыло, и пару раз служитель проваливался даже по колено. Он вышел к своей цели весь грязный, уставший и сырой, в мятой отяжелевшей одежде и обуви, почти развалившейся. Но оказалось, что опасный путь священник проделал напрасно – мост исчез. Его не то что бы затопило – совсем не то, – его просто не было.

Вода переломила все несущие конструкции под ним, середина моста напрочь рухнула. В реке иногда всплывали покореженные обломки, которые, правда, тут же превращались в мелкие куски – яростные, напористые волны разбивали их о прибрежные камни.

Селение утопало, уходило под воду. Причал с лодками и четыре дома смыло полнотью. Среди людей, бегущих в каком-то жутком угаре подальше от обваливающегося, размокшего берега, господствовала паника. Земля сделалась мягкой, как сырая бумага, мгновенно рвущаяся от всякого прикосновения, и те, кто не поспевал за толпой, проваливались в преисподнюю.

Отец в отчаянии рухнул на колени, расплакался, и слёзы его стали частью окружающего хаоса.

По некоторым данным, человек, о котором предупреждал пророк, объявился в среду, постный день. Вообще-то всякая среда является таковой, и может показаться, что нет особой нужды останавливаться на этом подробнее. Но так уж сложилось, что тем летом по требованию епископа населению деревень стали чересчур уж навязчиво напоминать и о постных днях, и о приближающемся тогда Петровском посте, и о необходимости во всем себя ограничивать, а главным образом – в еде. Дело в том, что за последний месяц по причине прогнивания запасов корма, неожиданного начала сезона дождей и наводнений, затем следовавших, в близлежащих селениях перешло почти вся скотина – лишь в некоторых дворах животные уцелели. Из этих вот дворов стали воровать, в особенности нищие да оставшиеся без пропитания семейства. Зажиточные же крестьяне обратились к епископу с прошением пресечь подобные беспорядки. Епископ той местности крайне высоко ценил поддержку населения, потому ответил на прошение по-своему: именно же объявил распоряжение, согласно которому священнослужители должны напоминать о необходимости поститься, а в округе следует развесить соответствующие брошюры. Так и было сделано, однако на пользу епархии это не пошло – призывать голодного к голоду не очень-то мудро.

Так или иначе, появился однажды в селении, угнетаемом рекой, странный человек. А за рекой-то мор животных достиг наибольшего размаха, поскольку затопило пастбища, да и никакой помощи из столицы оказано не было в силу удалённости деревни. Странный человек с собою привёз два обоза, гружёных свежими, окровавленными кусками молоденьких телят, чем тут же вызвал симпатии жителей деревни и заслужил проклятие церкви. «Пришёл Великий грешник; Он принесёт много бед», – говорили многие представители. Епископ же выступил с речью в городе и нескольких деревнях: «Мы не можем потерпеть в наших краях человека, не исполняющего волю божию. Ибо если Бог наслал болезнь на скот, и скот вымер – значит, Он пожелал испытать нас. Пожелал, чтобы наша Церковь, наместница и проводница Его воли, воспретила честным христианам заботиться о еде, дабы не уподоблялись они зверью и усмиряли в себе телесные желания, духу нашему противные. Нечестные же христиане пусть жрут и воруют (ибо участились случаи голодного воровства) убиенных тварей, но отныне всякий, кто поступает так, будет неминуемо считаться грешником и обязан доносить о том на исповеди!». Далее следовали указания, как именно следует рассказывать о нарушении поста, в какой форме и порядке по отношению к прочим проступкам.

Представители Церкви пребывали в странном расстройстве, будучи бессильными

против мора и голода, а «Великий грешник» продолжал раздавать людям еду, причём совершенно даром. И не было от еды той ни одного отравления, ибо мясо было чистым и свежим, и опущено в вино для обеззараживания.

Сытыми остались даже самые нищие, впроголодь живущие семейства. Люди были безмерно благодарны человеку с обозами, поэтому – неизвестно, кто впервые предложил так – стали называть его святым. Позднее появилось и другое прозвище – чудотворец.

От помощи его отказались только пророк, одинокая девица по имени Катерина, которая никогда не покидала своего дома, и одна местная семья, державшаяся особняком – родители с двумя сыновьями.

Глава семейства, Никита Иванович К., довольно несдержанный и религиозный человек, являлся в деревне старейшиной, хотя в последнее время и перестал по возможности вмешиваться в общие хозяйственные дела. Себя он считал старообрядцем, хранителем истинной веры, но степень истинности её довольно сомнительна. Можно лишь упомянуть, что однажды К. избил до полусмерти одного из своих сыновей за мелкую провинность, однако вряд ли подобный поступок как-то характеризует его веру. Не принял же принесённой еды, надо полагать, потому, что уберёт от смерти двух своих коров, обитавших в помещении за домом и дававших немало молока (с наступлением холодов одной из них предстояло лечь под нож, дабы семья смогла прокормиться).

В деревне Никита Иванович особо любим никогда не был, несмотря на воззрения. К слову сказать, самые чудесные воззрения при скверном характере превращаются в нечто чудовищное, в домашнюю тиранию, своеобразие и эгоцентризм.

Детей своих он крестил самостоятельно, на дому, без участия священника. Потому семья считалась отверженной. Жизнь их никто особенно не интересовался – тем более, старейшина давно перестал пользоваться предоставленной ему властью.

Сыновей побаивались, особенно старшего – старший был свирепое, дикое существо, совершал злые нападки на окружающих, творил всяческие безрассудства, за что был часто бит отцом даже в зрелом возрасте. Младший вроде бы учился, в отдалённом городе и в значительном учреждении, но по окончании учебы почему-то вернулся; видели его редко, всё своё время он проводил дома, в отдельном кабинете с книгами.

Отец не любил их. Младшего, слишком тихого, мечтательного и, кажется, не в своём уме, не любил никогда, хотя обычно младшие дети вкушают плоды родительской нежности более, чем предшественники, старший же разочаровал его, достигнув периода созревания – тогда стал заметен в нём слишком буйный нрав и непростительное своеволие.

Никита Иванович был тот человек, о котором сказано: когда дети просят хлеба, подаёт им камень, и когда просят рыбы, подаёт змей.

Из авторского дневника, март:

Возможно, именно поэтому он легко пережил несчастье, постигшее обоих сыновей через некоторое время после пришествия человека с обозами. Впрочем, до этого несчастья было ещё далеко, и жителей человек с обозами интересовал гораздо больше, чем всем знакомый и всеми нелюбимый старейшина.

Где поселился вновь пришедший, никто не знал. Появлялся он всегда неожиданно и так же неожиданно пропал. Представление же о его внешности имели смутное, помнили только, что лицо «святого» отличалось какой-то слишком уж необыкновенной бледностью и что сам он был очень молодой, почти подросток, и необычайно красив. В иные времена о нём бы, пожалуй, сказали, что он красив, как бог, однако ныне это выражение никуда не годится – боги сменились.

Отец Павел, всё это время живший у пророка и покорно ожидавший восстановления моста (переправляться на лодке он опасался) мяса не ел. Боялся отравиться, хотя подобных случаев и не наблюдалось – предупреждал ведь пророк, что некий благодетель принесёт священнику смерть, так почему бы не через отравление!

В деревню отец пришёл в понедельник, за два дня до явления чудотворца, и питаться постным бульоном – всё, что мог предложить провидец – ему изрядно надоело. Он начал опасаться, как бы не довести себя до истощения, и однажды послал в администрацию письмо о том, чтобы мост восстановили, но в подобных условиях, понятное дело, до назначенного адреса ничего не дошло.

Жители вскоре смирились со своим положением – да и как не смириться, ведь они были сыты и не испытывали лишений. К тому же, дождь лил, не переставая, так что желания отправиться на тот берег, в город, ни у кого не возникало. В те дни на улицу вообще выходили редко, дабы лишний раз не мокнуть и не отлеживаться после в болезни. Деревня совершенно умерла, захлебнулась.

Однако к выходным осадки вдруг прекратились, истощив небеса и доведя их до сухого, лазурного состояния. Вода, размывшая пастбища, убившая посевы и запасы зерна, стала нехотя сползать, наводнения почти везде отступили.

Селение за время ливня почернело, и люди, спустившиеся с верхних этажей, обнаружили свои жилища источенными влагой, будто червём. Возникла необходимость в восстановлении, в материалах – иными словами, необходимость связываться время от времени с миром. Тогда принялись упрашивать вновь прибывшего каким-нибудь чудесным образом мост починить.

– Я сделаю это, – ответил тот, кого прозвали чудотворцем, – если вы устроите мне встречу с девушкой, которая живёт взаперти и ни с кем не желает видаться.

Девушка была падчерица пророка, Катерина Петровна, двадцати пяти лет отроду.

«Когда пытаешься написать повесть (роман, может быть?), обычно предполагаешь какого-то читателя. В моём случае читатель не определён. В моём случае его, вероятно, не будет, ибо я ещё не решил, что впоследствии делать с рукописью. Самое важное для меня – восстановить в памяти общее настроение событий, произошедших почти год назад, однако до сих пор не знаю, стану ли делиться этим настроением.

А всё же иной раз и придёт в голову мысль о читателе. И кажется тогда, что меня обвинят в сказочности, не захотят воспринимать подробности повествования, которые слишком чудны. Увы, возразить здесь нечего, ибо хотя я и был свидетелем описываемых событий, но свидетелем опосредованным. Потому многие детали и даже целые сцены, происходившие без моего участия, пришлось сочинять, основываясь на слухах, обрывках разговоров, домыслах. Но всем этим разговорам и слухам присуща была самая настоящая, очевидная сказочность, так что упрекнуть меня не в чём.

Если я и погрешил против истины в некоторых местах своей книги – я, по крайней мере, не погрешил против народной молвы. А ведь народная молва со своими нелепыми легендами рано или поздно становится частью реальности, этакой надстройкой поверх материальных вещей, которая как раз и создает то, что я пытаюсь воссоздать – настроение. Ту плотную атмосферу, в которой мы жили».

Совершенно неясно, какую цель преследовал «человек с обозами», напрашиваясь к Катерине Петровне в дом – та была затворницей и интереса ни у кого доселе не вызывала.

В детстве она была довольно красивой девочкой, в подростковом возрасте вдруг поблекла, а по достижении зрелости вовсе подурнела. Черты её, совершенные в отдельности, не подходили друг к другу, потому смотрелись нелепо. Зелёные глаза были, пожалуй, милы, но на худеньком личике казались чересчур большими, так что женщина походила из-за них на какого-то большеглазого зверька. Шея сама по себе отличалась своеобразным изяществом – но вместе с копной рыжих кудрей на голове напоминала зажжённую спичку. Конечности бедняжки выглядели чуточку неразвитыми, подростковыми, и были слишком длинны, тогда как туловище казалось довольно крупным и даже, может быть, толстоватым – внизу оно расширялось. Грудь же на этом туловище была маленькая, тоже как будто неразвитая.

Всё тело Катерины Петровны представляло собой странное сочетание юных, подростковых и оттого незавершённых ещё черт, и черт зрелых, женских. Тело было уродливо, с

чем никак не могла смириться его обладательница.

Дом женщины наполнен был всевозможными журналами из города, которые она выписывала регулярно и хранила у себя ради того, чтобы вечерами полюбоваться на тамошних красавиц, чем доставляла себе огромное наслаждение и неутолимую душевную боль сразу.

Стеснённая своей внешностью, Катенька никому не показывалась на глаза, хотя и изнывала от скуки и однообразия. В доме у неё имелось единственное зеркало, приделанное к дверке шкафа с внутренней стороны; смотрелась Катя лишь по вечерам, в остальное время шкаф был плотно заперт.

Затворницу никто никогда не навещал, потому как ни родных, ни друзей у неё не было, а если бы таковые и имелись, она сама не пустила бы их – настолько не хотела, чтобы её кто-нибудь видел в столь непривлекательном облики. Ей казалось, будто всякий человек, с которым она повстречается, непременно почувствует омерзение, отвернется или – того хуже – поднимет на смех, а потом всем-всем донесёт, какая она.

Один лишь пророк радовал своими посещениями, и то нечасто. Катерина Петровна питала к нему огромную симпатию за это, всякий раз была вежлива, уступчива, процала нечистоту и неопрятность. Иногда, однако, она мыла его, расчесывала, облачала в чистые одежды, брила и стригла волосы – сам провидец почему-то забывал о своём внешнем виде, увлечённый видениями.

На попечении у него Катя оказалась лет в пять, может быть, в шесть, тогда ещё прехорошеньким ребёнком. Она была в ту пору как-то странно замкнута, вспыльчива, нервозна, иной раз замолкала и не говорила ни слова по несколько дней кряду, разрешаясь затем невыносимой истерикой.

В деревню Катя пришла глубокой ночью, в разодранном красном платье, побитая и заплаканная, прижимая к груди восхитительную куколку. Пророк нашёл девочку у моста и приютил в пристройке больницы.

Куколку она хранила до сих пор, часто разговаривала с ней, если хотелось поделиться сокровенным или просто поплакаться, любила наряжать в какие-нибудь тряпки и вообще, казалось, одну только её и способна была любить.

Необъяснимое удовольствие женщине доставляло прикосновение к кукольному личику, бессмысленному и идеальному – но касалась она трепетно, едва-едва и, только почувяв кончиками пальцев холодок пластмассовой щечки, мгновенно отдергивала руку.

Подобные забавы с детской игрушкой длились иногда часами, пока какое-нибудь внешнее событие – случайно влетевшая в дом птица или проходящий мимо здания сосед – не выводило наконец Катерину Петровну из оцепенения.

А птицы залетали в дом необыкновенно часто, почти каждый день. Они врывались в

распахнутые настёжки окна, в приотворённую дверь, в форточку, а если всё это было закрыто, ухитрялись чудом пробираться через вентиляционные ходы.

Первое время хозяйка предпринимала кое-какие попытки изгнать их прочь, но потом перестала обращать внимание, решив, видимо, что порхающие и копошащиеся под потолком стайки небесных обитательниц нисколько ей не мешают – пожалуй, развеют немного повседневную скуку.

Вскоре она привыкла к ним и не замечала вовсе.

Здесь следует пересказать и ещё один немаловажный случай. Когда Кате исполнилось пятнадцать, пророк взял её с собой в церковь, расположенную в соседней деревне, на другом берегу. Он редко посещал службы, считая, что для общения с богом это совсем необязательно, но решил почему-то показать дочери проповедь.

Богослужение проводилось тогда торжественно, с песнопениями и полагающимся величанием. Девочка только как-то странно поглядывала на иерея, читавшего проповедь, и вроде как боялась смотреть на него открыто. Когда же иерей остановил на юной посетительнице свой взгляд, Катерина, совершенно растерянная, вдруг расплакалась, чуть ли не гневно, и сбегала, не досидев до конца.

После происшествия она никогда больше не выходила из дому, за исключением дня переезда из больничной пристройки в заброшенный наследственный дом провидца.

Тогда же Катенька возненавидела вдруг своё отражение, так что заставить её посмотреть в зеркало стало невозможно.

Но – странное дело – только оградились она от зеркал, как тут же начала дурнеть. Потому милая, изящная девочка с волшебными глазами, каким позавидовала бы сама богиня любви, если бы дожила до нашего времени, выросла в некрасивую, плохо сложенную особу.

Здесь важно упомянуть, что селение, куда они с пророком отправились, было то самое, где обитал отец Павел, и церковь принадлежала ему, а, следовательно, он сам же читал проповедь. Остаётся лишь гадать, почему взгляд его произвёл на девочку столь сильное впечатление – быть может, иерей посмотрел на неё с каким-то особенным восхищением, а может, за этой игрой глазами скрывалось что-то ещё, тайное и постыдное. Но деревенские говорили про случай в церкви разное, и слухи распространялись самые гадкие.

После этой встречи с Катенькой священник предпринял несколько попыток увидеться с девушкой, но все до единой попытки провалились, и Павел решил завести дружбу с провидцем или хотя бы снискать его уважение.

Но пророк, подговариваемый дочерью, подарки отсылал назад, а во время шести-семи встреч, довольно недолгих, бывших между ними, не пустил гостя на порог своего жилища и говорил с ним во дворе, допуская в беседе презрительные замечания, даже оскорбления.

близко Павел вынужден был прекратит общаться с пророком, однако до сих пор изредка обращался с просьбой показать грядущее – видения всегда почти сбывались, так что его выгода здесь вполне понятна. И хотя ныне священник, узнав о том, что Катя потеряла всю свою былую привлекательность, совершенно перестал её добиваться, укрепить связи с пророком ему удалось лишь на самую малость.

Неприятнь, между ними существовавшая, вспыхивала при каждой встрече, однако не помешала Павлу некоторое время – до починки моста – пожить в пристройке больницы вместе с хозяином. Совместное обитание их происходило почти безмолвно, с примесью нервозности, но без нападков друг на друга.

Взаимосвязь двух этих людей представляется совершенно невозможной – если у «богобоязненного паука» и имелся определённый интерес, то интерес провидца не кажется столь очевидным. Можно предположить лишь, что, несмотря на все различия, имелась между ними некая общая, стягивающая нить. Оба они, как впоследствии выяснилось, плели свои сети, свою паутину, оба, таким образом, в некотором роде пауки. А подобное, как известно, притягивает подобное.

В деревне провидца с дочкой откровенно ненавидели. На них смотрели презрительно и как будто свысока – так, словно они относились к разряду низших существ. Их обвиняли в связях с нечистой силой, в том, что отошли от бога, не почитают никаких добродетелей и вообще – занимаются колдовством.

Никита Иванович не раз пытался призвать соседей разрушить дом Катерины Петровны, саму её выволочь на улицу и, привязав к столбу, побить камнями. И лишь потому, что семейство его также считалось в последние времена изгоями, никто до сих пор так не поступил с женщиной. Зато года два тому назад, весной, когда у поселившегося здесь преступника дом ушёл под воду, над пророком все же учинили расправу – правда, страх, невольно возникающий перед колдуном, не позволил забить его до смерти. Люди ограничились лишь тремя десятками ударов, отчего наказуемый потерял сознание. Избитого притащили к большой пристройке и там же, во дворе, бросили.

До своего жилища провидец добрался уже самостоятельно. Целую неделю он отлеживался,пил какие-то снадобья и таким образом сам себя выходил. После этого в молодой семье, ныне переехавшей в другие края, заболел годовалый ребенок, а через несколько дней умер от простуды. Смерть эту приписали духам, якобы обитавшим в старой больнице. С того времени связь с ними пророка стала для всех очевидной, потому его не трогали больше.

Катя же могла вообще не обращать внимания на то, как относятся к ней в деревне – ведь она совсем не появлялась на публике. По этой причине колкости и насмешки, предназначенные для отверженной, обходили её стороной, отравляя своим ядом лишь самих насмешников.

Стены Катинго дома снаружи все были исписаны разнообразной похабщиной, вымазаны дёгтем и грязью, но надписей и нечистоты хозяйка не видела, а пророк не считал нужным ей сообщать.

И всё же Катерина Петровна не имела возможности полностью оградить себя от неприятностей. Когда, к примеру, женщина откасалась от мяса, доставленного «святым», какой-то негодяй, подстрекаемый, по всей видимости, общественностью, подбросил ей в окошко кусок гнилой говядины, изъеденный червями и источающий отвратительно-сладковатую вонь. По такому же куску досталось провидцу и Никите Ивановичу, старейшине – те тоже отказались от привезённой чужаком пищи.

Однако после заявления чудотворца о том, что починит мост, только повстречавшись с Катей, отношение к ней значительно улучшилось – по крайней мере, внешние его проявления. Некоторые из деревенских стали навещать девушку, и хотя она никогда не отворяла им, разговаривая исключительно через дверь – оставляли гостинцы, довольно скромные, и кое-какие вещи, из одежды (это принесли преимущественно женщины).

Катенька радовалась, наивно воспринимая дары как проявление заботы (внезапность проявлений её, кажется, не насторожила, что вполне понятно, учитывая многие годы, проведённые в одиночестве). Сами по себе, впрочем, гостинцы не представляли ничего особенного, многие девушка выбрасывала за ненадобностью – какие-то горшки, посуду, игрушки, старые одеяла и т.д.

Деревенские же полагали теперь себя благодетелями и по прошествии недели с момента появления чудного юноши, спасшего селение от голода, потребовали, чтобы Катя обязалась с ним встретиться. Неизвестно, по каким соображениям – то ли из благодарности, то ли предвидела, что знакомство изменит её постное существование – Катенька согласилась.

Встреча назначена была на четверг, девятый день после пришествия чудотворца.

Катерина Петровна отыскала в своём гардеробе широкое темное платье до пят, которое скрывало все изгибы тела и висело, как балахон, завесила лицо непрозрачной вуалью и в таком виде предстала перед гостем.

Гость пришёл в полдень.

Поздоровался тихо и сразу прошёл в комнаты. Те, надо сказать, были не особенно чисты. Пол и стены с пузырящимися обоями на них во многих местах были загажены птицами, населявшими почти все помещения внутри дома – Катерина Петровна, кажется, привыкла к такой обстановке и не убирала за ними.

Она занимала три комнаты, две из которых были пусты и непригодны для жилья – в них не наводили порядка с самого дня въезда, – в третьей же, почти не освещаемой солнцем, Катя жила вместе с куколкой, – там же она

приняла своего посетителя, первого за то время, что находилась в одиночестве.

В комнате из мебели стоял только диван – обитый красной тканью, сильно потёртый и с дырочками, без одного подлокотника, – да ещё крохотное бархатное креслице, заказанное специально для куклы. Куколка, сидевшая в нём, одета была в розовую юбочку и белый пушистый свитерок, мягкий, как шиншилла. На голове игрушки красовалась заломленная набок шляпка, тоже белая и с золотой ленточкой. Кукольные ножки обуты были в прелестные золотые туфельки, величиной с ноготок. У креслица кругом царил чистота и порядок, в отличие от дома в целом – дом, напротив, выглядел заброшенным, словно в нём и не жил никто.

Под оконцем находилась дверь – туда, видимо, складывали продукты. Тут же стоял примитивный умывальник, рядом два таза с водой, самодельный кипятильник и набор ковшей разного объёма.

Гость оглядел всё это с явным удивлением и направился к дивану.

Он озарил дом каким-то таинственным свечением. Был он молод, как о нём и говорили, телосложения хрупкого и с белой, бескровной кожей. Глаза же его сияли, и сияние их завораживало – оттого казался юноша ангелом, обладающим безумной, небесной красотой.

Дом Кати, мрачный, сырой, грязный, весь наполненный дурными запахами и удушливой, разъедающей влагой, вдруг сделался светлым и благоухающим – в воздухе разлился нежный аромат увядающих роз, сухой, насыщенный. Солнце ударило в окна, и расцвела комната, и поблекла на своём королевском месте мертвая кукла – божество, идол, полноправная владелица дум и помыслов Катерины.

Катерина же Петровна была ослеплена – она ничего не могла видеть, ведь святой был так хорош собою. Тут она вспомнила вдруг собственное отражение, и восторженность её улетучилась.

– Вот вы как живёте, – сказал зачем-то гость и осторожно взял в руки куклу. Катенька вся затрепетала, хотела было запретить, но не осмелилась.

– Вам здесь нравится?

– Да, – Катя тут же смутилась и добавила:

– Хотя не слишком. Но... здесь весьма удобно... удобно и... у меня есть куча разных пташек... с ними довольно весело, знаете ли.

– Вы, похоже, давно ни с кем не разговаривали, – юноша улыбнулся совершенно по-детски, мило и доверчиво. – Вы так волнуетесь! У вас даже голос дрожит. Я пришёл с благими намерениями, меня нечего бояться. У вас очень симпатичная куколка.

– Очень. Она мне нравится, я её люблю.

– Ведь она неживая!

– Что вы! Ещё какая живая! Зачем вы так! Я её люблю, она ведь... такая красивая... и потому живая. Живая, живая, даже слышать не хочу ничего другого!

– Разве жизнь в красоте?

– Безусловно, в красоте.

– И... любят, значит, за красоту?

– За что же ещё! Вот я некрасивая – меня никто и не любит.

– Я вас люблю, правда! А куклу вашу нет. Я всех-всех люблю и хочу непременно осчастливить!

– Меня тоже? – Катенька сделалась ужасно робкой.

– Вас тоже. Не бойтесь, сядьте рядом, – она села, – Может быть, вы снимете свою вуаль?

– Но я... уродлива. Как же я буду... неприкрытой?

– Бросьте! Уверен, вы сильно преувеличиваете.

– Нет. У меня... я смотрю иногда в зеркало, я... я... – девушка осеклась, не в силах выговорить последнее слово, но потом вдруг выпрямилась, содрала вуаль и выдавила из себя вместе со слезами:

– ...отвратительна.

Юноша положил руку ей на плечо и сказал тихо, почти напевно:

– Не плачьте, не надо. Хотите, я сделаю вас красавицей?

– Да разве вы сможете?

– Почему бы и нет? Я смогу.

– Знаете притчу о втором пришествии? Знаете или нет? Мне папа в детстве много рассказывал... Вы пришли, чтобы спасти грешников, да? А я грешна, боже, как я грешна!

– Я просто хочу всем добра. Хочу, чтобы вы были счастливы.

– Кто вам сказал, будто я несчастна? Я счастлива вполне, у меня...

– Это видно, что вы несчастны. У вас ничего нет... и ничего.

– Вы не понимаете, мне здесь хорошо! Мне удобно так жить, зачем вы вмешиваетесь!

– Удобно? – удивился гость. – А эти два таза, неужели вы в них моетесь! Вам, может быть, нравится вонь птичьего помета, перья и грязь от них! Вам здесь плохо – так почему вы отказываетесь от помощи? Ведь вы же мечтаете о том, чтобы сделаться прекрасной, как вот эта самая куколка! Я сделаю вас такой – только попросите! Пожалуйста! Вы же так хотели!

– Нет.

Катенька задрожала.

– Но почему, почему нет?

– Нет, – беспомощно прошептала женщина, почти готовая сдаться. – Не издевайтесь надо мной, вы же добрый! Зачем вы дразнитесь, вы не сможете!

– Поверьте, у меня получится! Правда, я обещаю. Только скажите – да. Разве плохо быть красивой?

– Плохо, – еле слышно, одними губами.

– Вот неожиданность! Да почему же?

– Грех, – ещё тише, беззвучно.

– Какой же это грех?

– Так отец говорил...

– Да кто он такой, ваш отец! – взорвался юноша. – Неужели этот человек полагает, будто способен решать подобные вопросы! Ваш

отец горд и высокомерен, и плетёт замыслы, как долговязый пауцище! Знайте же, что именно с лёгкой руки вашего отца называют меня теперь святым! Но это не так, я всего лишь принёс *дары*. Мне неинтересно слушать о вашем отце, я пришёл говорить о вас! Пришёл помочь вам, а не рассуждать о степени греховности того или иного деяния, понимаете меня!

Когда он прекратил, Катенька снова заревела – слёзы стали падать на платье, насквозь промачивая ткань.

– Простите, – сказал гость. – Я, наверное, слишком громко кричал. Не нужно плакать. Я не хотел обидеть вас, но... не говорите мне больше о своём попечителе. Поверьте, он совсем не так безупречен, как вы полагаете.

– Я по...нимаю, просто н-не надо... так кричать... а-а-а, – Катя потонула в слезах.

– Простите. Я ведь не хотел. Перестаньте, хорошо?

– Хо...рошо, – сказала она, всхлипывая.

– Я лишь хочу помочь вам. Ведь вы желаете быть красивой, много красивее вашей дурацкой куклы?

– Да, хочу, – это «у» женщина протянула долго, уместно даже сказать, провyla, и заплакала вновь.

– Успокойтесь, пожалуйста. Я сделаю вас богиней. Вы будете сводить с ума своей красотой, подобно Афродите! Вы станете куда лучше этой куколочки, и на вашем фоне она сделается безобразной! Мужчины станут слепнуть от вас и падать перед вами на колени! Хотите?..

– Да, да, хочу! Вы сделаете? Вы обещаете мне? (Она страшно торопилась говорить.)

– Обещаю, моя милая госпожа!

– Когда же? Когда, я не могу больше терпеть! – тут женщина подалась вперёд в предвкушении своего Величия. Глаза её лихо-радочно блестели.

– Завтра на рассвете. Ждите меня на пороге своего дома, нагая, ничем не прикрытая. Распустите волосы, избавьтесь от белья и косметики. И не плачьте ни в коем случае – я приду! – с этими словами гость исчез.

И дом стал, как прежде.

Нежный цветочный аромат испарился, уступив место безобразной птичьей вони. Свечение, внесённое в комнаты посетителем, пропало вместе с ним, и Катенька оказалась посреди голых, грязных стен с полопавшимися от влаги обоями, – там, где сама же себя похоронила заживо.

Тут только она заметила, что гость забрал с собою её любимую куколочку, бессмысленную, идеальную, обладающую безупречной внешностью и ледяным обаянием. К слову сказать, Катя даже не помнила теперь, откуда взялась у неё эта кукла – из детства она вообще мало помнила.

Грусть напала на обитательницу склепа, и, посмотрев на пустое бархатное креслице, она вдруг, ни с того ни с сего, принялась смеяться. Громко, навзрыд, как смеются от грусти несчастные и с детства забытые создания.

В тот же день между провидцем и его незванным гостем произошёл примечательный разговор. Примечателен он был тем, что стал фактически первым их разговором с того момента, как пророк приютил у себя Павла на время дождей.

Был уже вечер, довольно поздний. Павел разделялся со скудным ужином, сидя на грубо сколоченном табурете и поедая из тарелки с колен. Хозяин пристройки расположился тут же, но ничего не ел. Был он ещё грязнее и безумнее, чем обычно.

С улицы донеслись разудалые крики, будто толпа собиралась, и священник сказал, отвлекшись от ужина:

– Шумят что-то снаружи... аль не слышишь?

– Отчего же, слышу, – нехотя отозвался пророк. – Люди иногда собираются по ночам, ради веселья. Раньше трактир был, но его сожгли, так теперь просто шатаются от нечего делать.

– Да уж не на представление ли собираются, – Павел ухмыльнулся с явной издевкой.

– Представление?

– Тот пришлый, который мясо всем раздавал, обещал на завтра чудо показать. С участием дочки твоей. Что, пророк, не уследил за дочкой-то? – и ухмылка расплзлась ещё больше.

– Нет. Нет, Катенька... она не пойдёт.

– Ой ли? Будущее видишь, а под носом у себя проглядел!

Провидец поглядел на гостя искоса, но без особенной злобы, и спокойно ответил:

– Тебе сейчас надо думать, кабы ты сам чего не проглядел. И объясни мне, откуда ты всё знаешь? Из дома же не выходишь, чужака боишься.

– Я очень внимателен к сплетням, в них вся соль. В них, можно сказать, ключ к пониманию народа.

– Народ понимать жаждешь, – задумчиво протянул провидец и вдруг сменил интонацию на давешнюю – ту, с которой произносил обычно неумолимые предсказания:

– Ну, так дай я тебе кое-что поведаю, для понимания-то. Тут неподалеку живёт Пётр Сергеевич – мирный старик, у него ещё дочери разъехались кто куда. А недавно жена заболела, он теперь за ней всё ухаживает, хотя едва концы с концами сводит.

– И что мне, пожалеть его прикажешь? Сказано: не собирайте себе сокровищ на земле. А из притчи об Иове следует и то, что страдания, павшие на голову человека, есть признак особой божьей любви.

– Ты прав, богослов, – пророк грозно сверкнул глазами. – Но что поделывать, когда не Господь, а люди в жестокосердии своём обрекают ближнего на страдания? Я почему вспомнил Петра: у него по весне, в марте ещё, бродяги бычка убили, не слышал?

– Нет, – Павел уткнулся в тарелку, старательно делая вид, будто продолжает есть остывший ужин.

– Странно, что ты не слыхал. Бык был буйного нрава, сильный. Пётр его на последние сбережения купил, вроде бы на городской ярмарке, чтобы поголовье восстановить да телят продавать, а то скотины у него совсем мало. А без скотины не проживёшь – ему ведь и дочери особо не помогают. Вот я и думаю – ты часом не бычьей кровью воспользовался, когда чудеса-то подделывал?

– Верно. Только я своего быка на скотобойне приобрёл, там же в Городе.

– И не озаботился последствиями? Если кто-то обезглавил чужого быка под покровом ночи – так это, скорей всего, бродяги или беглые заключённые поиздевались, с тобой, то есть, нет связи. А на скотобойне факт задокументирован – бык, мол, продан такому-то священнику.

– Там и не вспомнит никто. Уверяю тебя, это варварство во дворе старика – чудовищное совпадение! Моей вины нет.

– Если и так, твоё преступление остаётся ужасным!

– Что ж, я испортил икону. По мнению людей, согрешил против Бога. Но ты-то почему меня упрекаешь?

– Ты ведь совершил преступление. И Божий закон, и человеческий о том говорят – вандализм никто не отменял. Я же остерегаюсь преступлений.

Отец Павел вдруг взревел, так что рёв его заполнил всё помещение едва слышным звоном:

– О, ты безгрешен, пророк! Ты гресишь чужими руками!

– Я не безгрешен, как все. Я добр.

– Добр? Это по доброте душевной ты сказал мне облить иконы кровью? Помнишь, в последнюю нашу встречу?

– Я дал тебе совет, потому что так будет лучше.

– И теперь попрекаешь!

– Разумеется! Да и как иначе, коли ты дурное сотворил, вымазав те иконы. А я ведь почему именно тебе предложил! Потому что ты на такие вот мерзости способен, и даже с радостью воплощаешь их.

– А тебе-то самому это зачем? – отец Павел обессилел после своей гневной вспышки и говорил заметно тише, даже с хрипом.

– О нет, Павел, иконы скорее для тебя. Ты поймёшь рано или поздно. Меня сейчас занимает чужак – не ты.

– А что чужак? Неужели веришь, что он посланник Всевышнего?

– Не верю, конечно, – провидец хитро подмигнул собеседнику. – Но я верю, что, если он утвердится в людских сердцах – будет огромная польза.

Священник недоверчиво поглядел на него. Пророк понял этот взгляд, поспешил объяснить:

– Видишь ли, я... мечтаю кое о чём, давно уже... и снится мне тоже, – глаза его как-то

странно и совершенно безумно заблестели, голос затрепетал. – Видел я во снах, как пришёл в мир человек, творящий различные чудеса. Люди столпились вокруг него, накинулись, все стали обращаться с просьбами. Человек же никому не отказывал – каждому преподносил то, чего он желал. У молчаливых сам угадывал, чего они желают, и тоже дарил. Толпы благодарных, ослеплённых его непомерной добротой, отправились за ним, подобно глупому стаду. Тогда завёл он их в глубокое мрачное ущелье, со змеями и пауками, да там и оставил. Затем взобрался на самую высокую гору, набрал полные лёгкие воздуха, воскликнул, так, чтобы во всех уголках мира слышали его призыв: «Есть ли из Вас тот, кто достоин Царствия Небесного?». Люди же, загнанные в ущелье, отвечали: «Мы, мы достойны, ибо много страдали и принуждены теперь пожирать змей да пауков». Человек засмеялся, сказал на это: «Вы уже получили то, чего хотите. К чему Вам ещё стремиться? Не достойны Вы Царствия Небесного, ибо отправились за мной. Знайте же, что на погибель Вы отправились за мной!»

Провидец закрыл глаза, наслаждаясь описанной им картиной. Лицо его было умиротворённо, даже морщины как будто разгладились. Теперь он пытался удержать в голове великолепный образ чудотворца, кричащего с горы. Однако, несмотря ни на какие усилия, образ вскоре растаял, уступив место чёрному с цветными пятнами полотну. Пророк немного погрустнел, открыл глаза и продолжил, как бы нехотя, с передышками (видно было, что он утомился):

– Такой день близок, и я приближаю его.

– Да ты, оказывается, подлый! – Павел расхохотался, как-то уж слишком истерически. – И ведь с расчётами в голове, что бы мог подумать! А сам себя добрым называет, тогда как хочет, чтобы всех людей завели в ущелье и заставили там питаться пауками! – он добавил что-то ещё, но эту последнюю фразу смех поглотил полностью.

Минуты три священнослужитель безудержно смеялся, откинувшись назад всем телом и сотрясаясь, как в лихорадке. Вдруг он наклонился вперёд, лицом почти уткнувшись в колени, да так резко, что у него чуть спина не переломилась, и принял кашлять. Уже тогда можно было предположить в нём болезнь – впрочем, ни жара, ни крови при кашле, ни каких-либо иных признаков пророк не заметил, потому решил, что священник, как это иногда случается, подавился смехом.

– Не надо, чтобы все в ущелье, – вернулся пророк к своему объяснению. – Только злые, и подлые, и те, кто дурного хотя не совершал, но способен.

– Да ведь если не совершал, то и наказывать не за что!

– За способность.

– Такая способность во всякого заложена, по-моему. И у каждого есть такая чёрточка, до которой если человека довести – он непременно сорвётся либо до разврата, либо до кровопролития.

– Не дураю. Существуют люди испорченные, но есть в мире и чистые души, боящиеся всякого зла.

Павел вновь громко рассмеялся.

– Чистые души! – повторил он. – Ты всё-таки крайне забавно рассуждаешь! Нет, пророк... увы, нет. Твои чистые души не защищены от дурных мыслей. А ведь тот, кто подумал о дурном – уже согрешил в своём сердце. Тьма есть в мире, а не чистые души. И ко всякому эта тьма подбирается.

VIII

В начале марта того года Пётр Сергеевич, один из старейших жителей деревни за рекой, действительно приобрел быка, молодого, крупного и весьма буйного, а через несколько дней нашёл его в общем хлеву с переломанными ногами и разрезанным горлом. Март был морозный, снег ещё не начинал таять, так что кровь на шкуре животного и оболочка глаз его покрылись наледью. Иной раз можно услышать, будто в глазах убитого зверя остается некая вечная скорбь, которая будто бы уходит лишь с разложением. Но Пётр Сергеевич никакой скорби не увидел – просто две выпученные, затянутые ледяной пленкой и совершенно пустые стекляшки с замёрзшими внутри капиллярами.

Для старика настало тяжёлое время – средств на пропитание едва хватало, прочий скот в хлеву стоял старый, коровы почти не давали молока на продажу, а в селе иначе-то и не прокормиться. И пошли коровы под нож одна за другой.

Пётр Сергеевич обвинил в своих напастях бродяг, ещё говорил, мол, убить живое существо ради развлечения или хулиганства только нелюди могут. Он как-то запомнил, что повстречал на сельскохозяйственной ярмарке священника из соседней деревни, а если бы и не запомнил, так никогда бы на человека, обладающего таким саном, не подумал.

Павел же, как и предположил пророк, действительно попытался «озаботиться последствиями». Он рассудил, что уж если и подделывать чудо в церкви, так следует быть аккуратным – подделку делать безупречно да без следов, которые могли бы выдать ложь. В этом случае сворованный бык казался лучше, чем купленный.

Выбор его пал на животное, приобретенное Петром Сергеевичем, несколько позже их встречи на ярмарке. Размышляя, где бы раздобыть подходящую скотину, Павел вдруг вспомнил старичка с другого берега и понял, что варианта лучше не найти: во-первых, Пётр жил в деревне за рекой, где сроду не уважали власть и к помощи её не прибегали (неумудрено, с властью не в ладах ни бывшие обитатели колонии поселения, ни старообрядцы); во-вторых, убийство именно этого быка избавляло от необходимости утомительных поисков; наконец, в-третьих, за рекой вся деревня, за исключением нескольких человек, пользова-

лась одним на всех хлевом, что уменьшало вероятность быть пойманным хозяином скотины.

Подготовившись, то есть купив лебёдку, мясницкий нож, топор и тару для крови (с особыми стенками, чтобы кровь не замерзла), за три дня до плача иконы священник поздно вечером отправился добывать основной ингредиент будущего чуда. В селении за рекой он оказался глубокой ночью, пробрался в общий хлев и принялся за дело.

Животные в основном спали, бык лежал в отдельном стойле, чуть в стороне от прочих, так что можно было не бояться, что он всех перебудит. Когда Павел приблизился, бык очнулся и лениво поднялся, покачивая мощным крупом да озираясь сощуренными, заспанными глазами. Ноздри его, похожие на губку, чудовищно раздувались, дыхание было горячим и страшным. Священник, опасаясь, как бы его кто ни обнаружил, тут же ударил быка обухом топора по темечку, отчего тот рухнул, как подкошенный. Затем Павел методично, тем же топором, переломал зверю ноги – на последнем ударе зверь взвыл, раскрыл большие, полные первобытного ужаса глаза, заметался, но был оглушён во второй раз и более уже не поднимался. Кровь, полившаяся из разбитого темечка, тут же на холоде застыла.

Расправившись с быком, Павел вышел на улицу, дабы проверить обстановку, но бычий рёв никого не разбудил. Тогда старик вернулся – на цыпочках, стараясь не потревожить других животных, – закрепил лебёдку на стене, распорол быку шею и попытался при помощи лебёдки поднять его вниз головой, чтобы кровь стекала в тару. Увы, не хватило ни сил, ни сноровки – то лебёдка срывалась с крепления, то механизм заедал от мороза и тяжести. В конечном счёте, Павел решил собрать кровь, не поднимая убитого зверя, однако из горла ничего не полилось – из-за нелепой возни и бессмысленных попыток поднять тушу на нужную высоту кровь на морозе совершенно застыла. Два или три раза Павел кромсал тело своей жертвы, но, кроме нескольких алеющих капель, ничего не получил.

И когда уходил Павел из деревни за рекой, огромный, стынущий труп оставался лежать в хлеву с огромным разрезом поперёк шеи и пустыми, постепенно гаснущими и стекленеющими от наледи глазами.

Через два дня, накануне того утра, когда икона начала кровоточить, священник в самом деле купил бычка-подростка на скотобойне, на окраине Города. Впоследствии он часто корил себя за столь неосмотрительное решение, однако ему повезло – в будущем этот купленный, порезанный и затем утопленный в речке бычок не всплыл ни разу.

IX

Катерина Петровна проснулась задолго до восхода солнца. До этого она тоже, кажется, два раза просыпалась, но теперь легла и не

смогла больше спать – с закрытыми глазами начинала болеть голова.

Делать было нечего, и после завтрака женщина отперла шкаф. Последний раз она делала это около двух месяцев назад и успела немного соскучиться по своему отражению. Людям сложно, странно жить, если не знают они, как выглядят.

Потому Катя дрожащими руками распахнула дверцу – ту, с обратной стороны которой прикреплено было зеркало, – включила полный свет в доме, чего раньше почти никогда не делала (боже, да тут, оказывается, столько света!), избавилась от одежды, начала оглядывать себя. Всякий раз, прибегая к подобной процедуре, женщина испытывала невероятное отвращение, но неприятное чувство довольно быстро проходит, уступая место чему-то другому, сладкому, лоснящемуся. Это новое ощущение опьяняет, пробуждает мечты, будоражит воображение, и Катя, чудная, радостная, представляет наконец себя красивой. Тогда любит себя женщина собой воображаемой, собой – безумной, собой – королевой, обладательницей ярких губ, роскошных локонов, округлой груди, приятного, мягкого, изнеженного тела.

Каким-то образом Катенька становится на миг именно такой. В зеркале неожиданно появляется великолепная особа, во власти которой неизбежно оказался бы любой мужчина, хоть мельком на неё взглянувший, чуточку озарённый ею; стал бы послушным, как дитя, исполнительным, угодливым – знай себе, держай за веревочки, играй, как хочешь!

Надо было лишь закрепить эту сиюминутную перемену навечно.

Но мог ли чудотворец на самом деле сотворить из Катерины Петровны нечто прекрасное, или только притворялся, лукавил, желая поиздеваться над ней. Быть может, он вовсе и не умеет делать чудеса, а так только, дурачится.

Хотя втайне, в глубине Катя вполне доверяла ему, несмотря на свои сомнения, потому с рассветом вышла-таки из дома, нагая, с распущенной жёсткой копной, длинными ручками, ножками, вся в узоре из венков. Такой узор покрывал её тело целиком, кроме, разве что, лица и кистей. Кисти всегда оставались белые, гладкие – слишком белые, чтобы ими можно было восхищаться.

Окружающий мир представился затворнице чем-то вроде откровения.

Конечно, деревня была ветхая и грязная – жалкое зрелище, – к тому же наводила своим гнилым видом тоску. Дома кое-где были затоплены, смещены или изуродованы, берег изодран, смыт местами.

Но Катенька вовсе не увидела никакой деревни, потому что сверху на неё свалилось солнце, которое тут же хлынуло, потекло по её телу.

Солнце вскочило на небо стремительно, порезанное. Из пореза сочилась свет и кровь, разбавленная, бледно-красная, ослепительная.

Кровь была повсюду – стекала с коричневых стен, потоками разливалась по тропинкам, дорожкам, укрытым гравием, садам, траве, омывала здания, огороды, пастбище для скота (ныне ставшее болотом), бурлила и кипела.

Хлынула к ногам Катерины Петровны, окропила беспомощное тело, и Катя подумала, что кровь – красивая.

И ещё – липкая.

И приятная.

Катенька сошла с крылечка, сделала несколько осторожных шажков, втянула свежий, пропитанный недавним дождём воздух. Катя улыбнулась этому новому ощущению. Вдруг какое-то ребячество проснулось в ней, и она побежала на берег – купаться.

Вода в реке стояла мутная, искромсана была волнами и – то ли от света, то ли от крови, в неё попавшей – превратилась в розовое вино.

Катя вошла. Терпкая жижа сделалась густой и вязкой от поднявшихся со дна ила, песка и водорослей. Но вскоре растревоженная взвесь осела, женщина смогла погрузиться глубже, по шею. Вода била по плечам, оттого голова немного закружилась.

Тут купальщицу окликнул вчерашний посетитель, и ей пришлось вернуться на берег.

– Теперь вы на полшага ближе к намеченной цели. Мокрое тело всегда почти выглядит привлекательно.

– И моё?

– И ваше, милая госпожа. Пойдёмте скорее, нас ожидают десятки любопытных глаз. Поверьте, люди будут приятно удивлены вашим преображением. Но прежде я разьясню вам, как следует вести себя, чтобы не навредить.

Непременным условием чужака являлась публичная демонстрация намечающегося чуда, и Катя вынуждена была согласиться. Для проведения зрелища за деревней, на свободном пространстве, где не начинался ещё лес, устроили маленькую самодельную сцену (проще говоря, помост), на которой вряд ли поместилось бы более двух человек, вокруг расставили скамейки, стулья, табуреты, складные креслица и другие приспособления, кто что принес.

Люди стали собираться ещё накануне вечером – некоторые прибыли даже из соседних поселений (большой частью на лодках, по реке с другого берега, потому как мост пока не восстановили – надеялись, что юноша исполнит обещание после нынешнего показа).

Вообще собравшиеся относились к предстоящему событию довольно скептически – двигала ими не вера в необычайное, а простое любопытство. К тому же, в деревнях обычно скучно, и жители, кроме совсем старых, рады всякому развлечению. Вероятно, по этой причине на разосланные вчера неизвестно кем приглашения многие откликнулись и пришли.

Чужака и голую Катеньку освистали, только поднялись они на помост.

– Ты уродина! – крикнул кто-то из толпы, обращаясь к женщине. За этим возгласом неминуемо последовали другие и превратились вскоре в совершенный, монолитный гул.

– Посмотрите, посмотрите на неё!

– На бочку похожа! Эй, милая, ты что, бочонок проглотила?

– Боже, до чего же она некрасивая!

– Бочонок проглотила, бочонок проглотила!

Все расхохотались. Сквозило в этом смехе, в раскатах его огромное самодовольство, и жестокость, и что-то скотское, мерзкое, противное. Толпа превратилась вдруг в гигантского слизня, каждая часть тела которого и каждая клеточка могли существовать и действовать по отдельности.

Катерина Петровна без того поминутно краснела, стыдясь своего вида, выкрики же окончательно её запугали. Вся она как-то сжалась, застеснялась ужасно и стала прикрываться руками.

– Дайте мне покрывало! – простонала она, осознав, что на неё глазеют, на обнажённую, мокрую и покрасневшуюся. Ей казалось, что до того пребывала в забвении, раз пошла на такой позор, теперь же опомнилась и увидела кругом обман. Хотелось сбежать.

Толпа ещё больше развеселилась. Одна девушка кинула на помост грязное полотенце. Другая принялась дразниться – надула себе огромные щеки, засунула таз под кофту и давай по нему колотить, изображая, будто у неё вырос живот. Прозвучало несколько грубоватых, пошлых шуточек. Один седовласый старичок начал вдруг приплясывать на месте, выкрикивая что-то совсем уж непристойное (он, кажется, был не в своём уме).

– Пожалуйста, пожалуйста! – молила Катенька. – Пожалуйста... мне нужно прикрыться. Я же не так хотела! Мне... нужно прикрыться, понимаете! Я ведь голая! Пожалуйста!

Вдруг она схватила запущенное в неё нечистое полотенце и, сгорая от стыда, стала обматываться им ниже пояса. Полотенце выпало.

– Пожалуйста... пожалуйста, – бессмысленно повторяла несчастная, поднимая его и обматываясь вновь.

– Бросьте! – зашипел на неё чудотворец, а вслух обратился к теснившимся у возвышения людям (места достались лишь некоторым, большинство вынуждено было оставаться на ногах):

– Молчите, ибо уродливее Её!

Замерло. Всё ниже уровня помоста, безликие фигуры и их голоса, движение, крик, взгляд – замерло.

Но фраза пришлась не по вкусу, скоро в толпе зароптали. Иные пожелали даже уйти, только не решились – слишком велика была слава странного человека, а в то же время его опасались.

Никита Иванович К., присутствовавший тут же, воскликнул со своего места, воспользовавшись относительной тишиной:

– Как можешь ты сравнивать нас с этой женщиной?

Чудотворец поглядел на него гневно и сказал, опять-таки при общем безмолвии:

– Тебе ли рассуждать об этом! Разве забыл, боголюб, что все люди равны? Разве забыл, что должно возлюбить ближнего своего, как самого себя? Возлюбить таким и при такой внешности, как сотворил его Господь, тобою почитаемый!

– Мой Господь не велит в подобном виде показываться перед людьми! Тех же, кто поступает так, в особенности женщин, велит презирать!

– Да разве у нас с тобой разные боги? Опомнись, старец, ведь бог един.

Никита Иванович не нашёл, что ответить. Вообще же он совершенно ступевался после этой короткой перепалки и почти сразу исчез.

– Смотрите же! – призвал демонстратор.

– Смотрите и увидите чудо!

Затем обратился к Катерине Петровне:

– Да будут украшением Твоим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но нетленная красота тела Твоего!

Обнял её, поцеловал в самые губы, и губы эти вдруг приятно порозовели, увлажнились. Коснулся шеи, погладил ладонью выпирающий живот, обвисшую грудь и неровную спину, отчего кожа женщины сделалась упругой, спина прямой, грудь же немного увеличилась, поднялась и окрепла. Женщина стояла неподвижно, удивлённая, растерянная. Ей и сладко, и больно делалось от происходящего. Она хорошела с каждым новым прикосновением. Прикосновения вызывали и что-то новое, какое-то чувство... возбуждение? Катя сильно смутилась, пожалуй, сильнее, чем прежде – собственные ощущения, помыслы напугали её. Краска выступила на лице, и лицо сразу преобразилось.

Она попыталась сдержать себя, успокоиться, подавить вспыхнувшие чувства, но не сумела и – страшно нервничая – всё же обвила шею находящегося с ней юноши. Юноша вдруг тоже оказался без одежд, и вместе они соединились в каком-то непонятном танце, состоящем из касаний, поцелуев, близости.

Соитие их произошло у всех на глазах, словно они и не люди вовсе, а одухотворённые животные, причём всякий стон, всякое движение этой безумной пляски делало женщину красивее. Когда же Катенька закричала (крик вывел собравшихся из оцепенения), увидели все, что она прекрасна, подобно совершенному изваянию, и не смогли выразить своего восхищения.

Настолько ослепительной, настолько яркой стала бывшая затворница, что мужчины, сидевшие в первом ряду, у самого помоста, все разом потеряли зрение. Те же, кто находились позади и преимущественно на ногах, почувствовали к обновлённой Кате какое-то сумасшедшее, звериное влечение, ринулись даже на импровизированную сцену, однако чудо-

творец задержал их, побоявшись, что в порыве страсти они вождельно разорвут предмет своего обожания.

Женщины, бывшие на демонстрации, сошли с ума от зависти, принялись рыдать, заламывать руки и вообще вели себя вызывающе, стараясь хоть каким-то образом удержаться подле мужей. Тут же произошло несколько семейных разладов, но в общем опьянении никто почти не обратил на это внимания.

– Мы любим Тебя, Ты великолепна!

Так кричали люди, превратившиеся теперь в фанатиков, и красавица торжествовала над ними.

– Мы любим Тебя, Ты великолепна!

Нельзя было вызвать в ней робости или смущения – женщина вовсе не желала прикрываться, любованье окружающих забавляло её. Толпу, получившую зрелище и оставшуюся им довольной, она оглядывала как полноправная владычица.

Катерина Петровна ощущала себя вполне счастливой – сбилось то единственное, чего она так искренне желала.

Немного жаль, однако, что торжество её и счастье длились не так долго, как хотелось бы. Вскоре после Демонстрации, повлекшей за собой толки о шабаше, колдовстве и прочем, Катя вынуждена была вновь удалиться в свой склеп, ибо красота, произведшая столь неожиданный эффект, стала к тому же причиной братоубийства.

Х

Утром следующего дня надежды деревенских оправдались – через реку перекинут был мост, больше и прочнее прежнего, на металлических опорах. Как именно он появился, никого особенно не интересовало, однако стоит отметить, что шума от строительных работ никто ночью не слышал. В связи с событием этим – восстановлением моста – в деревне устроили праздник в честь благодетеля, с плясками, костюмированным представлением и принесением в дар зарезанного телёнка.

В тот же день, задолго до начала всеобщего ликования, отец Павел отправился к себе в церковь, служившую также домом для него самого и – временно – для безногого.

Погода стояла довольно теплая, однако особой жары после дождей пока ещё не было. Со стороны города дул приятный слабый ветер, пуская по реке волны. Течение было мощным и ровным.

Сама река давно утихомирилась, вернулась обратно в русло, освободила берег и даже обнажила кое-где дно, так что люди начали возвращаться домой. Внизу, слева от конструкции, расчищали пляж. Некоторые из работавших там пробовали купаться – их было совсем немного (большинство все же опасались утонуть; надо полагать, страх этот возник в связи с недавним бедствием).

На месте лодочной станции, смытой во время наводнения, образовался пустырь, голая

песчаная местность, но восстанавливать станцию пока не решались. Возможно, впоследствии здесь устроят ещё один пляж. Хотя вряд ли – площадка считалась опасной и могла в считанные секунды вновь уйти под воду при малейшем поднятии уровня.

Кромка берега выглядела совершенно рваной, словно её всю изранили чем-то острым. Если смотреть слишком долго – река напоминала один невероятно длинный порез с прозрачной кровью, выступающей посередине. Картина наводила тоску, делалось почему-то ужасно грустно. Будто здесь некогда разыгралась никому не известная драма, навсегда оставившая в воздухе свой горький, нечистый аромат. Хотелось плакать от этого запаха, резкого, сильного, с примесью мяты, гнилого дерева и, сухих розовых кустов.

Пока шли дожди, вода вымыла верхний слой почвы, лишив землю плодородия, искусила берег, оторвала от него целые куски, размывла грунт почти до основания, отчего многие дома, кроме, пожалуй, старой больницы да двух-трёх удалённых сооружений, осели и стали совсем низкими.

Хлев, из общего хозяйства, опустел (остались лишь три полугодных телёночка, одного из которых как раз собирались преподнести чудотворцу), ворота в нём были пробиты. Деревня казалась бедной, всеми забытой, задушенной рекой с одной стороны и густым, непроходимым лесом с другой.

Под мостом, там, где дно немного обнажилось, собрались дети. Их было человек пять-шесть, одни мальчишки. Они что-то разглядывали на берегу (предмет, привлёкший детское внимание, скорей всего, выбросило на берег волнами). Павел остановился. Его почему-то заинтересовало, что делают там эти дети, и он стал приглядываться, стараясь увидеть то же, что видели мальчишки.

На камнях лежало нечто большое, размером с человека, крайне раздутое, синее, похожее на тряпичную куклу или манекен, и священник догадался, что это утопленник. Дети приподняли тело и потащили в заранее приготовленную яму, вооружившись предвзрительно лопатами.

Отца затошнило, он поспешно зашагал прочь, стараясь не думать о том ужасе, свидетелем которого случайно стал только что. Неприятно было наблюдать, как маленькие дети, доведённые бездельем до отчаяния, преспокойно рассматривают труп, дотрагиваются до него, несут куда-то, хоронят, а потом радуются и с горящими глазами рассказывают о том, что сделали, остальным (те, разумеется, жутко завидуют).

Конечно, интерес к подобным вещам возникает от стремления к разнообразию и отсутствия хоть какой-то брезгливости, это вполне нормально для подобного захолустья, но отцу всё равно стало противно.

В церкви служителя встретил дьякон. То был приходящий дьякон, помощь которого требовалась иногда во время службы. Он жил неподалёку и в отсутствие отца Павла взял на

себя обязанности сиделки – ухаживал за оставшимся в одиночестве безногим. А безногий к тому времени пошёл на поправку и почти уж не кашлял – не было с ним особой мороки.

Священник проведал его, нашёл в отличном состоянии и пожелал выздороветь как можно скорее (пожелание это касалось также и ног). Потом осмотрел свои владения, убедился, что всё пребывает на своих местах, кругом чисто, на иконах сохранены необходимые следы, поблагодарил дьякона, попрощался с ним.

Затем проверил почту. Было два письма – одно с печатью епископа, другое от какого-то прихожанина.

Письмо от прихожанина священник отправил в корзину и принялся за второе, с печатью. Оно было примерно следующего содержания:

Иерею Павлу

Его Преосвященство епископ Теофил весьма доволен вашими последними успехами (свой крохотный приход вы сумели прославить, десятки людей обратили в веру). Чудо явилось нам в нужное время, и поскольку Бог удостоил вас такой чести, то неужто церковь не последует Его примеру?

Принято решение скорейшим образом разрешить вопрос о возведении вас в сан более высокий, нежели тот, коим вы обладаете – протоиерея или протопресвитера³.

Для обсуждения этого назначения Его Преосвященство епископ Теофил придет к вам 11 июля, накануне Праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла⁴.

Также доносим до вашего сведения нижеследующее.

Местные жители жалуются на призраков, якобы населяющих разрушенную больницу в соседней с вашей деревне, и нами было принято решение провести процедуру изгнания бесов, в которой вы должны сопровождать комиссию.

Кроме того, Его Преосвященству хотелось бы знать ваше мнение о странном человеке, который объявил себя святым и – ходят слухи – умеет творить чудеса. Не мошенник ли он и не следует ли применить против него определённые меры?

Секретарь епископа Теофила протоиерей Р.

XI

Из авторского дневника, апрель:

«Вообще-то я никогда не понимал отца Павла. Человек это был властолюбивый, достаточно умный и – что хуже всего – лицемерный. Он казался неуловимым в своём лицемерии – истинный его характер и настоящие на-

мерения угадать никогда не удавалось. Но сказать, что человек совсем ничтожный, язык не повернётся. В конечном счёте, приютил же он у себя калеку с парализованными ногами.

Гораздо больше интересовало меня семейство К., Никита Иванович с сыновьями. Брат Никиты Ивановича являлся настоятелем монастыря, с ним я встречался мельком и был напуган мрачным его видом. Пожалуй, именно поэтому мне не хочется раскрывать их фамилию, довольствуясь невзрачным инициалом – К.»

У старейшины из селения за рекой, который столь неудачно выступил на демонстрации силы чудотворца, было два взрослых сына, Алексей и Даниил. Эти двое также присутствовали в толпе, но Катеньку не освистывали и отнеслись к ней благосклонно с самого начала. О них-то и пойдёт теперь речь.

Даниил был младший в семье и жил на свете чуть более двадцати лет. Он обладал незаурядными способностями в научных областях, от рождения был странен и нелюдим и имел, кроме того, весьма своеобразную внешность. Молодой человек был приятен на вид, даже, может быть, красив, однако красота его дополнялась особенными телесными изъянами, тоже, впрочем, не слишком уродливыми.

Он хромал и был несколько сутуловат, хотя это не портило его. Наоборот, дефекты придавали облику некую важность, степень, трагическую завершённость.

Туловище выглядело ломким, как у ребёнка, руки же казались слишком длинными и развитыми, мышечная ткань плотно обтягивала их (Даниил родился с крепкими руками).

Чертами он обладал тонкими, почти девичьими, что придавало лицу неизменно нежное выражение. Манера же поведения его была странна до крайности. Вычурная мимика, ежеминутно изменявшаяся, не соответствовала ни словам, ни жестам, чрезмерно скупым или, наоборот, размашистым – так, будто он разыгрывал некую роль; между тем он не играл совершенно.

Роговица глаз была зелёная, кошачья, в мелкую бурю крапинку, сами же глаза выражали обычно боязнь чего-то и сверхъестественную робость.

Казалось, Даниил страшился всего на свете, включая стены и даже родственников. С самого детства он не мог долго находиться в обществе сверстников, особенно же пугали его женщины, хотя многие и нравились.

Однажды в школе (она находилась в городе) набожный отец застал Даниила за подглядыванием в девичьей раздевалке. Никита Иванович тут же избил сына, да так, что бедняга несколько дней подряд стеснялся выходить на улицу (лицо его было откровенно изуродовано – пара шрамов осталась до сих пор). Затем добродетельный родитель провёл юношу голым через всю деревню, как паршивого щенка, и на двое суток запер в подвале, без

³ Протоиерей или протопресвитер – сан, до которого может быть возведен не монашествующий священник за долголетнюю и безупречную службу либо выдающиеся заслуги перед Церковью.

⁴ Христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла, отмечается 12 июля.

еды, питья и прочих благ – «умерщвлять свою похабную плоть».

Позже, когда пытка завершилась, отец стал регулярно проводить с Даниилом беседы (как правило, вечером), объясняя тому, что всякое действие, направленное на услаждение плоти, есть грех, ибо отвлекает нас от размышлений о боге, что вожделение должно испытывать одним лишь животным, а всяческие фантазии внушает нам сам сатана, искушая таким образом, что воздержание и отказ от плотской любви – единственное благо для преданного Господу человека, что рукоблудие, подглядывание и прочий срам оскверняет наш нетленный дух и т.п.

Надо сказать, мальчик поначалу не особенно прислушивался к родительским наставлениям, вера же в божественное начало вовсе в нём отсутствовала, однако страх наказания, плотно укоренившийся в душе, со временем заставил его подчиниться.

Отец воспитал в отроке недоверие к людям, замкнутость, заставил испытывать вечное чувство вины, сделал пугливым изгоем, но так и не сумел вырвать из природы сверхъестественную симпатию к противоположному полу. Вот только страх наказания с годами превратился в юноше в страх перед девушками, куда более патологичный.

Нельзя утверждать наверняка, что именно эта его боязнь стала причиной последнего затворничества, однако такое объяснение кажется вполне вероятным.

Затворничество наступило после окончания университета и возвращения из города домой.

Тогда Даниил прекратил почти все сношения с близкими (сохранились лишь редкие встречи со старшим братом, проходившие в рабочем кабинете, как и вся жизнь молодого человека), порвал связи с внешним миром, заперся, отказавшись впускать кого-либо, кроме упомянутого брата.

Дни он проводил исключительно в раздумьях и душевной терапии, по собственному его выражению. Со временем все стены своего убежища, мебель, расположенную там, и даже потолок Даниил покрыл сетью замысловатых рисунков, знаков, чертежей и символов. Книги иногда рвал, забрасывая комнату ключьями, или жёг, отчего верхняя половина помещения сделалась чёрной – гарь покрыла потолок и часть стен.

От одиночества, истощения, от долгих часов, ежедневно отводимых для болезненного самокопания, какой-то постоянной заикленности, страхов, досаждавших ему – он помешался. Не сразу, плавно, без особых страданий мышление его совершенно невероятным образом перестроилось, идеи стали неприемлемыми (вроде той, что необходимо поломать все кресты в округе, дабы не накликал беды на деревню), размышления превратились в запутанную и липкую паутину, так что невозможно было разобрать, к чему они ведут, и вскоре семья К. вынуждена была с горечью признать, что их бедный родственник – самый обычный

сумасшедший. Стоит отметить, что образ жизни Даниила нисколько не изменился от этого признания, и даже наоборот – от него наконец отстали, предоставив полную свободу.

Старший сын старообрядца, Алексей, вел себя иначе. С детства он любил привлекать внимание окружающих, не терпел замечаний, был чрезмерно горделив, задирист. Часто капризничал, нервничал, устраивал истерики и был даже подвержен каким-то странным припадкам, которые, однако, исчезли вместе с детством. Вообще он проявлял неожиданную для ребёнка агрессивность, жестокость (будто это не ребёнок, а озлобленный пёс).

Имел какую-то особенную, устоявшуюся, страстную тягу к насилию, что выражалось обычно в глумлении над животными. Бродячие кошки, например, были часто и довольно сильно им избиваемы. Дети вообще жестоки – через жестокость они впервые познают власть над слабейшими, применяют её, пробуют на вкус, оценивают (власть кислая и вяжущая), – однако в Алексее эта черта развилась необыкновенно сильно и, в отличие от прочих подобных случаев, не исчезла в процессе взросления.

Поведение его долго оставалось бесконтрольным – отец старался не замечать неприятных черт в сыне, потакал малейшим прихотям, капризам, желаниям, баловал и был необычайно ласков, выражая свою любовь играми и подарками. Кажется, к первенцу он относился куда более благосклонно, чем к младшему своему ребёнку.

Лишь когда Алексей попробовал умертвить новорождённых котят (у соседской кошки как раз появились на свет шесть крохотных, трогательных детёнышей), отцу пришлось подвергнуть его наказанию, которое ограничилось пощёчиной и вполне вразумительной беседой, после чего случаи умерщвления не повторялись.

Мать же в семье как бы отошла на второй план, спрятавшись за фигурой деспотичного супруга, и почти не принимала участия в детях, так что общение с ними происходило по строгому регламенту, причём далеко не каждый день.

Женщина виделась с сыновьями чаще всего по выходным, посвящая это время совместным прогулкам около реки или предаваясь со своими маленькими спутниками сладостным грёзам о том, как хорошо и радостно станут они жить, как сделаются вдруг счастливыми.

Никита Иванович старался оградить мальчиков от «дурного влияния изнеженной мамы», потому всегда обрезал время этих прогулок и любил в присутствии детей высмеивать мечтательность жены. Впоследствии он научился одним каким-нибудь мерзким словом разрушать все те превосходные, радужные картины, которое рисовало женщине её яркое воображение, и она окончательно сникла.

Никита Иванович относился к детям вроде как к ценной собственности, забота о них

на фоне общего жестокого обращения превращалась порою в приторное, слащавое и льстивое опекунство.

Мать звали Мария Александровна, Машенька, Малютка (была она совсем крохотная, потому и Малютка; многие из-за её миниатюрности даже не верили, что женщина обладает способностью самостоятельно выносить дитя – она родила по очереди двоих, с разницей в три с небольшим года, тем самым убив все сомнения).

Малютка была приятная, скромная, молчаливая, меланхолического типа и обладала мягким, тёплым характером. Руки у неё тоже были мягкие и тёплые – когда она гладила мальчикам волосы, получалось, будто это струйки чистой, искрящейся воды льются им на головы, смывая грязь и усталость.

Даниил оказался особенно восприимчив к материнским ласкам, ценил те моменты, когда мог видеть её, наложенные папашей ограничения тяжело переживал, иногда на несколько дней подряд впадая в апатию – до новой встречи с родительницей. Нравом Даниил пошёл в мать, так что они всегда почти умели находить общий язык.

Младший ребёнок рос в стороне, прячась на чердаке вместе с матерью и находя защиту от тирании в мире фантазий. Тайком они проводили иногда под крышей целые часы, в окружении воркующих голубей, беседуя, рассказывая о своих переживаниях, погружаясь в дурман вымысла, наслаждаясь теплотой в висках и в сердце, и во всём теле, увлекаясь бесконечной расслабленностью, сумраком, чувством закрытости, защищённости от тех бедствий, что творились во внешнем, чуждом им, мире.

Даже став вполне взрослым, Даниил с грустью вспоминал старый чердак, бледную мать рядом с собой, рассыпанные повсюду перья, тонкую чердачную вонь, расслабленность, сумрак, закрытость.

Теперь молодой человек в своём изолированном кабинете пытался воссоздать ту приятную для него, детскую атмосферу. С матерью же он совсем прекратил общение – мать стала старой и скучной, высохла, истощилась, обезличилась. Духовное обезвоживание постигло её.

Алексей же тяготел более ко вседозволяющему отцу – особенно ему нравилось то, что отцовскую любовь ни с кем не приходилось делить, потому как забитого братца старейшина вовсе не замечал; агрессивный юнец, таким образом, сознавал свою неповторимость и высокое положение.

Достигнув совершеннолетия, он полностью погрузился в разгульный образ жизни и дома появлялся лишь ночью, и то не всегда. Тогда Никита Иванович сменил милость на гнев и возненавидел уже обоих своих сыновей.

Алексей довольно часто заглядывал в местный трактир.

Трактиром была вонючая бедная изба, тесная, как щель, насквозь прокуренная, душная, полная дешёвых напитков, часто разбавляемых водой; одновременно она служила до-

мом для хозяина заведения вместе с женой, расплывшей женщиной весьма неприятной наружности, которая подавала заказы. С четой этой Алексей находился во враждебных отношениях, нередко ссорился с трактирщиком, хамил ему, угрожал «спалить к чёртовой матери эту лавку», отказывался платить, мотивируя отказ тем, что трактирщик («этот мерзавец») якобы «продался дьяволу и хочет всю деревню утянуть за собой в ад», и пару раз даже бивал его жену («паршивую ведьму») – оба раза до обморока.

После очередного такого происшествия, с руганью и битьём посуды, Алёшу выставили под аплодисменты пьяной толпы. Трактирщик, не скрывая удовольствия, вывел его наружу и крепко ударил, так что нежелательный посетитель, плохо державшийся на ногах, рухнул навзничь. А когда очень довольный собой хозяин входил обратно, вслед ему гневно прозвучало:

– Я сожгу твой дом вместе с тобой, спящим, а потом выволоку твою отвратительную жену на улицу и убью эту ведьму!

Изгнанник прокричал громко, навзрыд, так, чтобы слышали все в трактире; вместе с криком изо рта у него полилась горькая, пережёванная слюна.

Трактирщик не обратил внимания на угрозу, а вечером Алёша подпалил избу. Пламя захватило лишь самый краешек крыши и нежилой угол – горело как-то вяло, тускло, испуская тяжёлые клубы дыма, кашляя и задыхаясь, затухая от этих дымовых плевков (дом был старый и потому, как всякий старый дом в селении, насквозь пропитанный влагой).

Хозяин принялся поливать охваченную огнём стенку почти сразу (угар, мгновенно накопившийся внутри, предупредил его об опасности). Пожар прекратился, не причинив особенного ущерба. Судебного разбирательства не было – да все и без того определили виновника. Знали – и ничего не делали, ибо Никита Иванович, хоть и прекратил заниматься управлением, оставался старейшиной.

Как ни странно, при такой разнице характеров между собой братья ладили.

Алексей часто приглашал младшего на прогулки (эти совместные прогулки ему почему-то нравились – Алексей был единственным из всего семейства, кто не считал обитавшего в доме отшельника сумасшедшим).

Иногда они вместе посещали аттракционы (когда те привозили из города), уличные спектакли (их устраивали обычно приезжие или бродячие актёры), деревенские пиршества с обязательным костюмированным представлением (на таких представлениях почти всегда выходили какие-нибудь нелепицы, вроде того, как крупная перезрелая баба наряжается вдруг в «прекрасную молодую принцессу»; публика, впрочем, и это принимала на ура – так же, как «принца», поднимавшегося на помост пьяным, или злодея, не способного двух слов связать).

Приглашал всегда Алёша, Даниил же в силу своей душевной слабости не смел отказывать, хотя никогда не приходил в восторг от

перспективы погружения в мир примитивных развлечений. Так сложилось между ними с самого детства и, надо полагать, именно так произошло в случае с эротической пляской, развернувшейся на самодельном помосте. Это последнее приглашение, правда, стало роковым для обоих.

На Демонстрацию братья отправились вместе, задолго до начала. И хотя была ещё глубокая ночь, передние ряды оказались сплошь заняты, потому братья выбрали места в середине.

До рассвета оставалось несколько часов – время, вполне достаточное для сна. Эту возможность использовал Алёша.

Даниил настолько нервничал, что просто не смог сомкнуть глаз, даже на полчаса. Поток собственных мыслей, колючих и навязчивых, утянул его куда-то вдаль, прочь отсюда (как в детстве, когда он в одиночестве оставался в сумрачном помещении), ввёл в совершенное оцепенение. Как таковых видений (в смысле галлюцинаций, призраков) у него не наблюдалось, голоса также не посещали, и всё же... что-то в этом роде теперь с ним происходило.

Даниил пребывал в особенном забытии, когда окружающий мир, не меняясь в его воображении содержательно, изменял одни только цвета. Потому ночь сделалась красной, как спелая вишня, и влажной, как мякоть этой вишни, земля – белой, а люди, спящие вокруг – розово-грязными, будто все разом заболели. Появлялись новые, занимали свободные места, дремали, курили, разговаривали, искали, где бы встать да к кому бы подсесть, и все они были розово-грязные, бледные, мокрые. От них пахло буквально болезнью. Причём болезнь эта, как понял Даниил, в каждом человеке изначально заложена, и почти во всех разрастается, плещется наружу, заражая пространство кругом. Лишь в некоторых находится она безобидным зародышем, а что за болезнь такая – неизвестно.

Мир вернулся в прежнее состояние лишь с наступлением рассвета, когда началось своеобразное представление. Чудотворец и раскрасневшаяся после купания Катенька наконец появились.

При их появлении Даниил испытал трепетное, лёгкое чувство (напряжение, копившее всю ночь, спало), а потом страшно заволновался, осознав, что женщина на помосте – обнажена. На протяжении всего действия он ни разу не оторвал от неё своего взгляда – женское тело привлекало его настолько, что он, пожалуй, единственный из всей толпы увидел её красоту ещё до того, как эта красота проявилась.

– Она мокрая, – сказал он брату, замарая, – и приятная... и тёплая.

– Да ты в своём ли уме! – воскликнул Алёша, но бесноватся с остальными не стал, сказал просто:

– Жалко девочку. Такая некрасивая – не повезло.

Дальше – женщина с тазом, запряганным под кофту, и сумасшедший старик, во-

пивший со своего места бранные слова, и запущенное полотенце, и всё остальное, в том же духе, всё грязное. Люди, пришедшие на публичную демонстрацию, невероятно воодушевились от возможности безнаказанно унижать себе подобного, и оскорбления в адрес Катерины Петровны посыпались со всех сторон. Это напоминало словесную оргию пресмыкающихся или – такое же словесное – изнасилование. Голая женщина на помосте сделалась жалкой, маленькой, просила прощения, кажется; говорила, что хотела не так, что стесняется, но её никто не слушал и услышать в общей суматохе не мог.

Спутник велел ей замолчать и взял слово (тут же вышел его спор со старейшиной, который, как известно, завершился не в пользу последнего). Он пообещал чудо и вдруг начал прикасаться к телу Кати. Женщина от его прикосновений быстро и в какой-то момент робко обвила шею юноши руками, ставшими почему-то прекрасными, женственными и одновременно сильными, прижалась к нему, слилась с ним, опьянела.

Это ощущение – опьянения, забытия – довольно быстро захватило присутствующих. Волна стихийного любования (подглядывания) окатила всех вокруг, в том числе двух братьев. В какой-то момент люди в невероятном экстазе, как разъярённые животные, хлынули к помосту – возвышавшийся на помосте чужак сумел остановить их каким-то странным, сияющим взглядом. Вся толпа, как единый организм, сотрясалась от судорог и преклонялась перед виновницей торжества...

А потом Катя сбежала.

Помост опустел. Люди стали потихоньку расходиться, разъезжаться по домам, потеряв предмет всеобщего обожания из виду.

Какой-то старик, седой и весь сморщенный, истощённый, к тому же нездешний, всё никак не хотел покидать своего места – сопротивлялся, если его пытались увести насильно, хотя трудно предположить, откуда взялись у него силы, чтоб сопротивляться.

Он сидел в ветхом креслице, которое сам же принес накануне, в течение нескольких часов подряд, в слезах умоляя пустоту:

– Моя богиня! Верни же мне зрение, чтобы мог вновь видеть тебя! Ты так красива! Дай поглядеть, дай мне поглядеть на тебя...

Великолепие женского тела выжгло ему глаза.

Братья влюбились в Катерину Петровну мгновенно. Внезапное превращение поразило их.

Алёша, у которого было довольно много женщин, самых разных – милых, симпатичных, хороших, распутных, скромных, даже целомудренных – полюбил Катю потому, что ни одна из тех, прежних, не была настолько прекрасной и настолько бесстыдной. Даниил полюбил её за сияние, исходившее от тела.

Братья старались избегать разговора о чуде, переживая его каждый по-своему.

Даниил, придя домой, поспешил в свой кабинет и заперся там, не разделив с семейст-

вом их обычной утренней трапезы. Алексей тоже предпочел уединение своему повседневному пьяному существованию, которое неизбежно происходило в присутствии шумного, бездарного сборища его непостоянных друзей.

Даниил пребывал в странном упоении, был как-то по-особому поражен случившимся на помосте. Он воистину увидел чудо, и чудо сделало его одержимым.

Следуя своей одержимости, он ближе к вечеру, пока было ещё светло, отправился к Катеньке. Юноша всё время представлял, как встретит её и что скажет, и что будет после (события в его воображении, теперь совершенно воспалённом, развивались то невероятно драматично, то, наоборот, чересчур радужно; неутомимая фантазия кормила нереалистическими картинами ужасающего любовного веселья или страшных пыток, мучений – будто бы, например, своенравная красавица привязывает его за шиколотки к потолку, на крюк, и головой окунает в ледяную воду).

Даниил настолько увлёкся своими чувствами, размышлениями, своим феноменальным влечением к Катеньке, что сумел даже подавить внутренний страх перед ней. На других представительниц прекрасного пола это, впрочем, не распространялось. Только покинув отцовский дом, юноша увидел довольно симпатичную незнакомку; незнакомка, однако, не смогла очаровать его нежным обликом, и молодой человек поспешил скрыться. Дальнейший путь он проделал в спешке и теми тропами, где никого почти не было.

Наконец одержимый достиг цели – вот он, грязный, измазанный дёгтем дом. Вид склепа, где обитала богиня, неприятно поразила поклонника.

Невероятно пошлые надписи и сквернословия целиком покрывали фасад. На воротах, с которых уже три года как сорвали замок, был запечатлен жутких размеров фаллический символ. Кое-где около него присохла грязно-чёрная корка. Деревенские не скупилась на мерзости для тех, кого недолюбливали.

Даниил поднялся на крыльцо. Дверь была не заперта. Он постучал и, не услышав каких-либо возражений, вошёл.

В лицо брызнуло сильным цветочным ароматом – так, словно в комнатах разлили духи, а потом перемешали их с лепестками лилий. Повсюду летали птицы, совершенно бесшумно; всё в доме источало какое-то одуряющее свечение – вещи и птицы впитали его от хозяйки.

Женщина была как есть, опьянённая собственной наготой.

Даниил проглотил скопившуюся слюну. Странная горячка растекалась по его телу, а взгляд застыл на обнажённой женской груди.

Катенька вытянулась, нежно потерлась щекой о своё плечо, мурлыча по-кошачьи, и села прямо, обратив лицо к вошедшему.

Как это всегда бывает в жизни, всё случилось иначе – совсем не схоже с вымыслами Даниила.

– Ты красивая, – сказал он.

– И поэтому нужно так бесстыдно разглядывать меня? – женщина одарила гостя снисходительной улыбкой (улыбка эта была довольно приятной, какой-то даже материнской, а вместе с тем в ней сквозила надменность).

– Я люблю Тебя.

– И поэтому так смотришь?

– Да, – Даниил смотрел на женщину в упор, словно пропуская через себя каждую её черточку.

– Чего же ты хочешь?

– Тебя, – он как будто бредил, заговаривался, уплывал куда-то.

– У тебя такой сумасшедший взгляд! Даже хочется подразнить немножко. Но ведь после будет больно и плохо, правда?

Юноша не нашёл, что ответить. Стоял у входа и, не отрываясь, продолжал смотреть на предмет своего спонтанного обожания.

– Ты кра-си-ва-я, – повторил он по слогам, будто Катя сама того не понимала. – Я хочу подчинять тебя и тебе же подчиняться. Только так возможно.

– Но ты не нравишься мне. Вряд ли я сумею найти человека более прекрасного, чем чудотворец. Тебе неприятно, мой бедный? Прости меня, ладно? Хочешь, я тебя поцелую сейчас, и ты уйдёшь? Хочешь?

– Поцело...вать? Ты... позволишь? – Даниила качнуло вперёд. Голова закружилась, в ней что-то помутнело.

– Подойди ближе, пожалуйста, – женщина погладила себя по плечу (на этом плече были две родинки рядышком, одна чуть больше), по левой стороне шеи, левой груди, половинке живота и плотному бедру, а потом поднялась навстречу юноше. – Наверное, Тебе будет приятно целовать меня, – улыбка, одними уголками губ, рассеянная и как бы извиняющаяся.

Потом он действительно ушёл. До дома добрался как в тумане и принялся вдруг громить собственную обитель, наполненную книгами, пылью, духотой, множеством бумажных ключев.

Даниил воспринял поцелуй как некое откровение, даже несмотря на то, что Катенькины губы больно жглись; ему казалось, будто женщина вдохнула в него себя, одарила собой. Увы, откровение это пуце прежнего распалило чувства, отчего юноша впал в ярость, со слезами на глазах разрушил мебель у себя в кабинете, сжёг несколько книг и, истощённый, уснул прямо на полу. Крепко, весь влажный, как во время тяжёлой болезни.

XII

На следующий день объявили о празднестве в честь чудотворца. Всеобщие торжества в деревне за рекой проводились и ранее, и состояли обычно из подобия спектакля, для веселья, мёртвого телёнка и безобразной пьянки.

Последний раз нечто подобное устраивали в конце зимы, в феврале, на смерть одного из деревенских старцев, пользовавшегося

большим уважением. Собственно, старец за-вещал веселиться на его похоронах, и это было воспринято слишком буквально: очень много и страшно пили, а самые развесёлые вовсе избили артистов, принимавших участие в праздничной постановке. Завершилось торжество осквернением могилы усопшего и разорением его опустевшего дома – содержимое растащили по кусочкам, стены и крышу подвергли сожжению.

До этого праздник проходил в ноябре в честь какого-то политического деятеля, посетившего селение, и тоже последовали различные бесчинства. Летом прошлого года (отмечали что-то религиозное) обошлось без особенных происшествий, а пять или шесть лет назад пиршество обернулось всеобщим преступлением, которое и окрестили в итоге Справедливым судейством. Что именно произошло, помнят далеко не все, но действо явно завершилось кровавой сценой. Иные утверждали, будто стыдиться им нечего, поскольку кровь пролилась справедливо и согласно местному обычаю.

Атмосфера, царившая в деревне, вообще напоминала тёмные времена – атмосфера давящая, несвободная, заговорщическая. Из-за отдалённости от более развитых районов законность здесь заменили почитанием предков и жёсткой, непреклонной религиозностью, причём религиозность эта была какая-то своя, извращённая и переделанная, невинно допускающая всяческие нарушения.

Праздник грянул под вечер, когда солнце приближалось уже к горизонту, а в воздухе из-за приближения ночи запахло землёй и свежестью. Дневная жара спала, уступив место прохладе.

Зарезали телка, распоротое тельце его подвесили вниз головой в ожидании, пока из него вытекут жизненные соки, и можно будет приступать к разделыванию. На месте помоста, где недавно стояли Катенька и чужак, собрали сцену для представления. За деревней, на открытом пространстве, развели четыре больших костра.

Бочки с вином, впитавшие в себя тонкий запах брожения и ещё вязкую, тяжелую вонь мокрого дерева, влажные, покрытые плесенью, пылью – выкатили из погребов на улицу. С них убрали пыль, убрали плесень, заставили жить и делиться тем обжигающим эликсиром, что зарождался и сохранялся в них на протяжении нескольких месяцев, даже нескольких лет. К содержимому бочек относились с особым трепетом, разливали бережно, стараясь не потерять ни капли. Затем вино отправлялось в ненасытные глотки, то есть совершенно обесценивалось.

На Праздник пришли почти все. Не было только Никиты Ивановича, пророка, да вот ещё сам чудотворец хоть и появился, исчез сразу после начала.

Даниил на этот раз явился по собственной воле, независимо от брата. Катенька была тут же, немного в стороне, от холода куталась она в бесформенный плащ и, кажется, грусти-

ла. Или, может быть, мечтала, в душу-то ей никто не лез.

Алексей появился позже остальных. Он был мрачен, к тому же пьян и разгорячен, но во всеобщем ликовании участия не принимал. Младшего брата старался избегать – наверняка тоже собирался признаться Кате в своих чувствах. Впрочем, вряд ли он действительно что-либо испытывал, потому как есть люди, не способные ни к чему и ни к кому привязаться; для себя, однако, он, наверное, чувствовал что-то сильное и непреодолимое, но в действительности ничего не было, то есть никакой другой человек столь слабые ощущения не заметил бы; Алёша был слаб душой, и малейшее волнение для него превращалось в сильное и вечное. Такая чувствительность часто приводила к внезапным порывам и, вероятно, являлась первопричиной его чересчур буйного нрава.

Даниил, наоборот, все время искал брата глазами и всякий раз, когда оказывался близко, пытался обратить на себя внимание, чего Алёша в упор не замечал. Даниил выглядел раздражённым, выражение лица его было беспокойным и жёстким, а улыбка казалась вымученной, будто губы свело. После представления он куда-то исчез.

В представлении участвовали в основном приезжие актёры. Разыгрывали историю о пожилом человеке, который, почувствовав скорую кончину, пригласил всех своих детей, то есть четверых сыновей и дочку, попрощаться. Действие основывалось на классическом мотиве борьбы за наследство и невероятной отчуждённости между поколениями. Посреди спектакля один из детей (старший сын) утопал в речке, трое уезжали ни с чем, проклятые родителями, дочка пропадала вместе с любовником и частью отцовских накоплений. Сам пожилой человек по сюжету должен был умереть в одиночестве, но не умер, поскольку спектакль пришлось оборвать – зрители разбежались от скуки.

Драматическая картина, представленная на помосте, не имела успеха. Она заставляла несчастных зрителей окунаться в беспросветную тоску, да только зрители в этой тоске жили, и была она разлита повсюду – в домах, внутри людей, в небе – и запах имела горький, как у полыни. От печального помоста жители перекочевали к тем четырём кострам, что развели на ближайшем открытом месте, и набросились на телятину, набросились на запасы вина, утоляя не только голод, но и страстное желание забыться. Праздник пошёл обычным ходом и вскоре обратился пьяным угаром, неистовыми криками и неистовой же пляской.

Так, как пляшут здесь, – пляшут с горя.

XIII

Утром на берегу реки нашли мёртвого Алёшу.

Он лежал на мелкой колючей гальке, уставившись в небеса, – там, где находилась мос-

товая опора. Шея его была аккуратно и до-вольно глубоко надрезана поперёк артерии. Почти всю кровь смыла речная вода – волны, наступая на изуродованную наводнением кромку берега, омывали тело целиком, начиная с запрокинутой головы, потому одежда на этом теле успела промокнуть и провоняла водорослями.

Птицы – из тех, что лакомились падалью, – кружили над мёртвым, но до сих пор к нему не прикасались. Пришедшие деревенские, таким образом, помешали им устроить собственный отвратительный праздник.

Тело завернули в кусок плотной материи, вроде парусины, дотащили до ближайшего жилого дома и оставили около крыльца. Двое лодочников отправились в соседнее поселение, вниз по реке – за священником. Там располагалось Мёртвое Городище, ближайший (по крайней мере, водным путём) населённый пункт от деревни; к нему существовала также и сухопутная дорога – можно было по мосту перебраться на противоположный берег и пройти вдоль него на север что-то около восьми километров. Это, впрочем, заняло бы часа два, потому и отправились по реке. Селение, где обитал отец Павел, было несравненно ближе, однако никакого пути, кроме сухопутного, к нему не имелось – на лодке по течению в любом случае быстрее.

Убийцу долго искать не пришлось. Обезумевшего, заплаканного Даниила нашли у Катеньки во дворе, чуть ли не под забором. В руках юноша держал небольшой кухонный нож, с кривым лезвием, и никак не желал расставаться с ним. Враждебности, однако, не проявлял, потому нож не стали отбирать.

Когда двое наиболее крепких мужчин подхватили сумасшедшего под руки и поволокли за собой – бедняга покорился. Только пару раз начинал хныкать, однако его очень быстро затыкали, не дожидаясь истерики, так что вскоре он сделался совершенно спокоен и даже как бы отрешён от происходящего. Нож по дороге потеряли, так что и после *всего* не смогли найти.

Преступника полагалось подвергнуть наказанию, предписанному обычаями, а после только передать в руки городских властей, чтобы те провели его по бесконечной колее судейств, обвинений, разбирательств и решётчатых камер, одна из которых превратится в итоге в его постоянное место обитания.

Жители, правда, и сами были не прочь насытиться. Отвели Даниила на опушку леса, туго привязали к берёзе и стали по очереди бросать камни, все по одному.

Обычно подобная процедура длилась недолго, с соблюдением даже некоторых правил и лишь однажды (примерно шесть лет назад) завершилась смертью мучеников. Мучители тогда попытались скрыть трагедию и вычеркнули из памяти всякие подробности – каждый участник в отдельности, конечно, помнил случившееся, иных донимали слабые угрызения, однако, встречаясь друг с другом, палачи никогда не упоминали о той единствен-

ной казни, которую совершили; единственной, впрочем, она была на их лишь счету, в деревне же и раньше, надо полагать, казнили, и даже намеренно – по крайней мере, когда жестокий обычай только ещё зарождался.

На сей раз люди отнеслись ко всему, как к необходимой формальности, никакого неистовства в них не замечалось – они преспокойно хватались за булыжники из приготовленной неподалеку горочки, замазывались, совершали бросок, без какой-то особенной страсти, и отходили назад, уступая место соседу. Камни достигали цели, стукались о затвердевшее тело, падали этому телу под ноги, и всё тянулось крайне прозаично. Промахи случались редко и почти всегда у детей, которых наставники заставляли участвовать, полагая, видимо, что принуждения такого рода сформируют в бедных питомцах необходимое уважение к сложившемуся укладу, да и, кроме того, поспособствуют боязливости, столь нужной при всяком воспитании.

Привязанный юноша держался на удивление стойко, будто для него процедура тоже была чем-то формальным – безболезненным. Он словно сделался оловянным, нечувствующим. Лицо его ничего не выражало, разве что глаза немного слезились от солнца, их облизывающего. Свет жалился, впрыскивал ядовитую смесь в зрачки и под веки, как пчела, жадно терзающая глазное яблоко; хотелось спрятаться от этого света – но Даниила не мог поднять руки.

Верёвка, впивавшаяся в запястья, приносила куда больше страданий, чем камни – втиралась в кожу при малейшем движении, разрывая нежный покров и срстаясь со связками, наматывая на себя кровеносные сосуды, высасывая, поглощая их содержимое.

Но попытка не заставила юношу согнуться, не заставила пасть на колени и даже не причинила серьёзного вреда. Возможно, если бы избитый рухнул или стал умолять, чтобы издевательства прекратились, если бы по лицу у него текли не слёзы от солнца, а кровь, если бы несчастный взвыл от нестерпимой боли или, наконец, разыграл всё это, искусно притворившись – да, тогда, возможно, его бы пощадили.

Но он только наивно, по-детски улыбался, считая, что кошмар завершился, что сейчас его отвяжут, позволят протереть лицо от слёз, щекочущих кожу, скрыться от падающего с небес потока и отдохнуть. Даниила не понимал, за что его наказывают; всё улыбался, вращал бессмысленными и безумными глазами, стараясь уберечь их от надоедливых лучей, а в голове у него царил пустота – такая пустота, что он не только преступление своё, но и всю предыдущую жизнь на время позабыл.

Толпу взбесило это выражение счастья, эта блаженная, плачущая улыбка. Какая-то стихийная ярость охватила собравшихся, волна безобразного, первобытного гнева захлестнула их, отчего проснулась и неизменная спутница его – жажда смерти. Чужой смерти. И вот уже к горочке, постоянно пополнявшейся специально отведёнными для этого людьми (дву-

женщинами да маленьким сыном одной из них), потянулось множество рук; в человека, страдающего от верёвки и немилосердного светила, полетело сразу по три, по четыре булыжника. Бросали с сильным размахом, страстно, жадно. Жестоко. Больно. А впрочем, стали и чаще мазать.

Когда же Даниил упал-таки на колени, почти без сознания, толпа дрогнула. Успокоилась, распалась на единичные души, словно каждый задал сам себе вопрос: «Что же это я, чёрт, натворил?»

Обе скулы и бровь наказуемого были рассечены, кровь заливалась в рот, заливалась в широко раскрытые глаза, окрашивая мир в бурый и красный. О передаче преступника властям и далее – суду – не могло быть и речи.

– Что же это мы натворили? Боже мой, что же это мы натворили? – звучало со всех сторон, тихо, с ужасом. Приглушённые голоса накладывались друг на друга, сливались в навязчивое гудение – будто рой насекомых застрекотал.

– Как *тогда*, – пролепетал кто-то с ужасом, но его тут же попросили замолчать.

Даниил всё же потерял сознание, однако, крепко привязанный, упасть не мог, потому так и остался висеть на верёвках. Подойти к нему не решались – все пребывали в какой-то растерянности и как будто не верили в то, что сами же истерзали юношу. Эти люди жалят невинно, то есть наиболее сильно. Они живут самой обычной жизнью, ведут хозяйство и воспитывают детей, но однажды, чаще всего в толпе, над ними вдруг берёт верх самая глупая, примитивная, животная часть мозга – этой части вовсе неведомы ни вина, ни сострадание, потому они наслаждаются хаосом и кровопролитием. Когда же возвращается разум, люди вроде как не могут признать, что истерзанный человек со связанными руками именно ими истерзан и связан – получается, что сознательной вины за ними нет, значит, и никакой нет.

Теперь деревенским следовало подумать скорее о том, как скрыть маленькую казнь. Нельзя было передавать убийцу в учреждение правопорядка – там обвинили бы в самосуде.

Шесть лет назад, когда двух таких же привязанных забросали камнями до смерти, невинным палачам пришлось замечать следы. Потому имён тех несчастных нет ни на одном могильном камне – их к кому-то прихоронили. Жители так старательно забывали эту чудовищную историю, что никто уж и не вспомнит причину столь жестокого наказания: одни говорят, будто люди то были пришлые, муж и жена, и наказали их за неподчинение местному старейшине; другие утверждают, что поводом для избиения послужило банальное воровство; один старичок, впрочем, уверен, что убитые жили в деревне, в браке вовсе не состояли, а приходились друг другу братом и сестрой, и пытке их подвергли за прелюбодеяние и кровосмешение, да только старичок из ума давно выжил, нет ему веры.

Даниилу решено было похоронить вместе с братом, в одном гробу, живого – не нашлось смельчаков, которые могли добить раненого юношу.

Привезли священника и гроб – в Мёртвом Городище гробовое дело являлось наиболее прибыльным, те, кто им занимались, процветали (там буйствовала какая-то болезнь, хоронили много).

Священник был дряхлый, подслеповатый старец, от старости наивный да не в себе немного. Повсюду он пытался отыскать бесов, гонялся за ними, брызгался святой водой, душил воображаемых чертей, отдирали их от себя – никаких, правда, чертей или бесов поблизости никто больше не наблюдал, так что их не было вовсе. Имя же при крещении дали ему – Тимофей.

Отец Тимофей держал за собой небольшой приход, требующий капитального ремонта и немного света (опасаясь проникновения демонов, отец заколотил все окна).

Полуслепые глазки иногда подводили его – он, например, не всегда мог отличить изображаемых на иконах персонажей друг от друга, в пространстве же ориентировался скорее на ощупь. Сегодня эта частичная слепота сыграла с ним недобрую шутку.

Старику объяснили, что панихиду следует служить о двух братьях. Двоих же он и отпел, даже не подозревая, что второй юноша не нуждается в этом, ибо душа его до сих пор пребывает в теле, несмотря на травмы.

Из авторского дневника, апрель:

«Отца Тимофея я никогда не видел. Он, конечно, посещал однажды приход Павла, но мы тогда не встретились. К слову, Павел отзывается о нём презрительно, то называя «добреньким», то наоборот, обвиняя во всех грехах – в тихом, мол, омуте...

А Тимофей действительно заколотил окна своей церкви, только не знаю, правду ли говорят про бесов. В шахтёрском городке, где он жил, люди умирали от неизвестной эпидемии⁵, и священник мог заколотить окна, спасаясь не от бесов, а от проникновения болезни. Мне нравится так думать, ведь, исходя из большинства рассказов, человек был достойный, хотя глубоко уже старый.

Он отпел Даниила без злого умысла. По крайней мере, я верю в это, ибо только о нём одном не слышал ничего плохого. Мнению Павла тут можно не доверять, а что до безумия... увы, в старости обычное дело быть безумным».

По окончании процедуры Тимофей, невольно согрешивший, отправился отведать остатки вчерашнего пиршества – немного вина и мяса, – а несколько деревенских в то самое

⁵ *Подробнее об этом в романе «Пещера» (вторая часть трилогии).*

время довершали начатое. Гроб был совершенно простой, без краски и без лака. В него опустили сначала старшего брата, не разворачивая материи, потом младшего. Младший истекал кровью и всё ещё не пришёл в себя.

– Не помер ли, в самом деле? – спросил один из могильщиков, бывший поселенец. Остальные, менее закалённые в подобных делах, ответили ему угрюмым молчанием.

Когда стали приколачивать крышку, Даниил очнулся. Стал кричать, но очень скоро впал в совершенное оцепенение и затих.

– Смирился, видать, – сказал бывший поселенец и взялся за лопату.

Братьев похоронили в Овражине, что за кладбищем.

Овражина была огромная яма, наполненная останками бедных усопших, которые из-за осыпания почвы покинули свои вечные пристанища, оказавшись неприкрытыми.

С каждым годом эта яма росла всё больше, отбирала территорию у кладбища, поедая грунт вместе с покоившимися там телами.

Местные опасались, что когда-нибудь, через много лет, эта ненасытная земляная глотка доберётся до деревни. Река тогда полностью затопит селение, и ничего кругом не останется, кроме торчащих из воды чёрных островов изб да холмика со старой, разрушенной больницей.

XIV

Утром одиннадцатого июля отец Павел усердно молился. Из деревни он вынес довольно тяжкое, гнетущее чувство – в народе его называют «камень на сердце» – и теперь никак не мог успокоиться. Перед глазами, стояло только их закрыты, тут же всплывал образ утопленника, найденного детьми на берегу, и утопленник этот почему-то тревожил больше, чем туманное предсказание пророка.

Отец избавлялся от смятения, прибегая к молитвам, но повторял давно известный текст машинально, грызущая тревога отвлекала его от нужных слов.

– Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, – говорил он, не думая совершенно ни о Боге, ни о необходимости помилования, будто не молитву читал, а мантру, значение слов которой давно затерялось.

– И по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, – говорил он, не помня ни одного своего беззакония.

– Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, – говорил он, а сам размышлял, как избежать предсказанной участи и стоит ли вновь замечать следы своего преступления: мыть иконы, уничтожать документы на покушку бычка...

– Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною, – и тут Павел наконец себя услышал. Осознав, какие слова прозвучали только что его голосом, он поднял глаза вверх и увидел то, чего старался не замечать – окровавленную икону, дело его неаккуратных

рук, плод одержимости. Диким сделался взгляд священника, заколыхала в нём ярость, будто проклинал он кого-то – то ли своего Господа, то ли провидца за рекой, то ли себя.

Оправившись от этого столкновения с реальностью, служитель покончил с молитвою и занялся больным, прикованным к постели. Сменил простынь, насквозь мокрую от пота и источавшую кислый, нездоровый запах, наполнил тёплыми отваром, проветрил помещение, принёс поесть.

Затем отец решил немного пройтись, дабы обернуть ход мыслей в привычное русло и вместо того, чтобы представлять утопленника и изувеченный иконостас, подумать над дальнейшими своими действиями.

Прогуливался священник всегда почти с тростью, для придания важности – однако на сей раз пришлось отказаться от привычки, поскольку трость Павел потерял во время наводнения.

Отец медленно прохаживался по тропинкам между дворами – дворы в селении располагались плотно и тропинки были неширокие. Иногда, глубоко задумавшись, выходил за границы деревни, куда-нибудь на пустырь либо по направлению к Городу.

В тот день было душно. Погода установилась тёплая, какая-то даже лихорадочно тёплая. Земля не успела ещё окончательно просохнуть после дождей, и влага, с неё испарявшаяся, не позволяла дышать полной грудью. Такое своеобразное голодание изматывало, и Павел быстро устал.

В последнее время он вообще неважно себя чувствовал – кажется, болезнь, вроде простуды или воспаления, переключалась к нему от безногого и медленно подъедала старое тело. Прогулка получилась недолгой и должного результата не принесла – священник оставался печален и рассеян. Взгляд его, слух его от душевного напряжения всё время выхватывали из окружающего мира какие-то совершенно бессмысленные детали, и по возвращении отец вдруг заметил, что ступени, ведущие к церкви, скрипят – это до крайности заинтересовало его распалённый и уставший мозг, отвлекая от главного. В конечном счёте, Павел решил, что дерево рассохлось, ведь с деревом такое нередко случается во влажных местах – от воды оно разбухает, затем, просохнув, трескается изнутри. Правда, он не решил, что делать с лестницей и вообще – тут же позабыл о скрипящих ступенях, обратив внимание на двери.

Двери были распахнуты настежь, у порога, снаружи, стоял приходящий дьякон, сильно обеспокоенный – именно так, старик заметил сначала двери, и только потом уже дьякона.

– Мой дорогой! – восторженно произнёс Павел. – Службы сегодня не будет. Прихожан, кажется, нет, мы можем отдохнуть.

– Я пришёл помолиться, отче. Во вторник всегда почему-то нет прихожан.

– По вторникам деревня пуста, – заметил Павел. – Все отправляются в город, делать покушки – там, говорят, распоряжение такое, чтобы деревенские только по определённым

дням отоваривались. Но завтра прихожан будет очень много, праздник всё же.

– Я пришёл помолиться, – повторил дьякон. – И пришёл не зря. В келье, где ранее лежал инвалид, в заднем крыле, вас ожидает епископ. Он приехал в ваше отсутствие и немного рассержен тем, что вы опаздываете.

– Ах ты, боже мой! – воскликнул священник и, бросив юношу, быстрым шагом направился к гостю. Служительно сделалось не по себе от того, что он забыл о столь значительной встрече, предупреждали же его письмом! Он, впрочем, надеялся на великую милость архиерея.

Епископ выглядел устало. Дорога немного утомила его.

То был крупный человек, в годах, приятной наружности. Глаза епископа, тёмные, глубокие, подолгу задерживались на одном каком-нибудь предмете, застывали на нём, впитывая каждую чёрточку. Выражение лица всегда почти было суровым, хотя не лишено некоторой доброжелательности. Иногда он улыбался, судя по небольшим морщинкам у нижних век. Общее впечатление портил, пожалуй, только рот – узкий, окаймлённый тонкими губами, он выдавал в архиерее неискренность и лицемерие. Рот напоминал глубокое рассечение по живой плоти.

Этот жуткий рот раскрылся, задвигался, из него стали вываливаться слова, твёрдые, подобно камням, и низкие по звучанию:

– Рад видеть вас, иерей. Господь да вспомоществует Вам. Перейдём в другое место, если вы не возражаете? Здесь сквозит, а на сквозняке в такую жару легко простудиться – да вы, я вижу, уже больны!

– Это не беда, Ваше Высокопреосвященство. Не люблю жаловаться на самочувствие. Мы можем перейти в жилую комнату, но там нам будут мешать. Можно пройти в средний зал, к иконостасу.

– Разумеется, к иконостасу. Или не должен я увидеть то, о чём столько слышал?

Иерей и епископ отправились в зал с иконами, где Теофил расположился перед самыми Царскими вратами, спиной к священнику, и принялся внимательно разглядывать измученные лики, искажённые лживой кровью. Особенно поразило епископа облик Спасителя, который и зарыдал в начале марта, окропив затем кровью все нижестоящие ряды икон. Глаза были полностью сокрыты тёмно-красным, запекшимся цветом, словно Спаситель не изображён краской по дереву, но заживо повешен на кресте, как прежде, и глаза его оттого налиты кровью. До самого пола от обезображенных ликов тянулись полосы ржавого цвета – там, где раньше лилось содержимое звериного сердца и сосудов.

– В своём письме, – начал Теофил недовольно, оторвавшись от сомнительного зрелища и повернувшись наконец к иерею, – я уведомил вас о том, что приеду. Почему вы не дождались меня? Почему ушли?

– Приношу свои извинения, – отец Павел говорил подчёркнуто вежливо, стараясь

заглушить потаённый страх и нарочитой вежливостью унять дрожь в голосе. – Я был в расстройстве с утра и не посмел принять вас, пока не поборол смуту в душе.

– Не в молитвах ли спасения ищите?

– В молитвах, Ваше Высокопреосвященство.

– Злые языки поговаривают, женщин вы любите куда больше, нежели молитвы.

– На то они и злые, Ваше Высокопреосвященство. Я утешаюсь исключительно в молитвах!

– Похвально, – епископ надменно усмехнулся. – Но меня интересует причина смуты. Не ослабели ли вы в вере, отец Павел?

– Не ослабел.

– А я, знаете ли, молюсь всё более о том, что вера во мне слабеет. Вы живёте оторвано от мира. Вы не знаете, что там, снаружи наших церквей и обителей, бога нет. Но есть ли он в вашем сердце?

Глаза гостя неприятно засверкали, опасная искорка появилась в них. Священник не стал отвечать, сообразив, что его пытаются поймать, ловко расставляя словесные сети и почти в каждую фразу заворачивая потаённый, подлый смысл.

– Фарисеи не поверили бы в чудо, здесь произошедшее, – Теофил указал на замазанные глаза Спасителя. – И ладно бы, одни фарисеи, которые вечно ни во что не верили и обвинили Христа в том, что он изгоняет беса силой князя бесовского. Но ведь и я не верю в *ваше* чудо! Слишком загрязнены глаза Его. Следовало бы омыть их святой водой. Хотя бы простой водой, иерей! Я видел сам, как в Вифлееме заплакал однажды образ Спасителя! Однако это совсем не похоже на то, что мне довелось тогда видеть... о, тогда было истинное чудо Господне, красота и величие Его снизошли на нас!

– К чему вы клоните? – с опаской спросил Павел.

– Помнится, я обещал вам сан протоиерея. Вы его получите, если не будет обнаружено никаких с вашей стороны нарушений. Если же чудо, здесь произошедшее – подделка, а так многие склонны думать, то вас ожидает анафема, ибо столь тяжкого греха, как осквернение икон, никто, как кажется, в моей епархии до сих пор не совершал.

– Я чист перед вами, Ваше Высокопреосвященство, – соврал священник, стараясь придать голосу уверенный тон – ему, надо отметить, это вполне удалось.

– Если так, вам не о чем беспокоиться. Если нет – я вас предупредил. Дата проверки перенесена в силу обстоятельств на неопределённый срок, однако я полагаю, в течение недели она всё же состоится.

– В чём же заключается проверка, Ваше свящество?

Епископ сделался вдруг суров и мрачен, но ответил:

– Чудеса, подобные этому, случаются теперь нередко. Определить же, настоящее чудо или нет, довольно просто. Если, скажем, некое

распятие или икона начинае мироточить, то логично, что вещество, текущее из... – Теофил замялся и долгое время подбирал подходящее слово. Сначала выдал невнятный звук «г», явно собираясь произнести «глаз», но потом вдруг сбился, проглотил остальные буквы и продолжил так:

– ...из предмета, должно присутствовать не только снаружи, но и внутри материала, причём одинаково с ним. В этом случае чудо считают истинным. Однако если вещество найдено лишь на поверхности, либо найдено и внутри, но является чужеродными – возможность чуда отвергается.

– Вы хотите забрать икону?

– Не сегодня, позже приедет комиссия и заберёт. Да, отец Павел! – воскликнул епископ, будто только опомнился после сна. – Вы ведь знаете, мы завтра отправляемся на другой берег – будете ли нас сопровождать?

– Боюсь, Ваше-ство, здоровье мне не позволит, – Павел для убедительности кашлянул.

– Что ж, да прибудет с тобой милость Господня. Здоровье необходимо беречь не только для своего благоденствия, но и для пользы паствы. У меня, правда, возник вопрос, в сущности, пустяковый... одним словом, что вы думаете по поводу человека, о котором говорят, что он святой? Мне рассказывали, в селении за рекой его прозвали даже чудотворцем – это за какие же чудеса?

– Я знаю, он творит чудеса, – начал после небольшого перерыва священник. – Но чудеса специфические и вряд ли божественные. Ходят слухи, сделал-де женщину прекрасной, только через публичное половое сношение, потому грешен. Да и стал ли бы, в самом деле, посланник Господа заботиться о внешней красоте своих последователей?

– Разве в наших деревнях допускают подобные сцены? – Теофил искренне удивился.

– Да, Ваше-ство. Допускают, ибо неверны и развращены. Не брезгливы ни к чему и не соблюдают ни заповедей, ни уголовного права. Однажды мне пришлось наблюдать, как тамошние дети закопали мертвеца – бедного утопленника – без отпевания, никому ничего не сказав. Следует ли отыскать его и похоронить подобающе?

– Предоставим лучше мёртвым погребать своих мертвецов, – епископ глубоко задумался, отчего рот его сжался в прямую узкую щель. – Впрочем, как знаете. Скажите лучше, опасен ли нам чудотворец? Есть ли он лжепророк, о коих сказано: «По плодам их узнаете их»?

– Плоды его мерзостны, но, кажется, достаточной силой он не наделен. Очевидно, однако, что лжепророчествовал, и не раз...

– Но вы уверены, – перебил Теофил, в страшном беспокойстве, вдруг позабыв свою неприязнь к собеседнику, доселе проявлявшуюся в пренебрежительных нотках, – уверены, что пред нами не тот, о ком предупреждал апостол Павел? Не Человек Греха?

Священник улыбнулся – похоже, предположение показалось ему забавным.

– Вряд ли чудотворец сядет в храме божем, как бог, и вряд ли назовет себя богом, – сказал он. – Человек Греха, я полагаю, должен воцариться в Иерусалиме. Разве это не закономерно?

Епископ нехотя согласился, и беседа приобрела более спокойный тон: обсудили формальности завтрашнего праздника, насущные проблемы епархии, разногласия со светской властью. Затем архиерей благословил священника и покинул церковь, в последний раз искоса глянув на иконы в бурных пятнах.

Павлу предстояло многое обдумать. Прежде всего, как избежать проверки, за которой отлучение последует неминуемо. Тревога, возникшая утром и даже ещё раньше, усилилась.

Отец вышел в притвор, словно ощутил себя недостойным находиться в самом храме, начал метаться по тесному помещению, как проклятый, лихорадочно что-то соображая. Встреча с архиереем и весь разговор показались ему странными – отчего, он сам не мог решить. Однако это невообразимое беспокойство в связи с чужаком, эта резкая смена настроений, внезапность вопросов, столь неожиданный уход – настораживали. «Чего же мне от него ждать? – подумал отец. – Чего? А, однако же, и он боится чужака. Поехать ли с ним теперь?»

Но ни на следующий день, ни когда-либо ещё с Теофилом он никуда не ездил, да и вообще не виделся.

Вечером случилось ещё кое-что: около прихода стал отираться грязноватый, в лохмотьях, молодой человек, с виду физически развитый, зеленоглазый и, кажется, измученный бессонницей – взбухшие под глазами мешки, налившиеся, спелые от свернувшейся в них влаги, говорили о том, что юноша давно не мог как следует выспаться. На коже его, кроме того, замечались многочисленные синяки, от давности желтые, кровоподтеки и следы цианоза⁶.

Он ходил взад и вперёд часа два кряду, изредка поглядывая на окна, пока отец Павел наконец не смилоствился и не вышел к нему. Разговор, состоявшийся между ними, длился всего минуты три. Затем утомлённый бродяга скрылся, а священник отправился проведать безногого.

– С кем это вы говорили?

– Так, один нищий, – рассеянно пояснил священник. – Просил позволения собирать милостыню около церкви.

– Он ушёл довольный, как я заметил. Вы позволили ему?

– Да.

С тех пор койка безногого благополучно перекочевала к противоположной стене, мрачной, беспросветной и пустой, во избежание дальнейших с его стороны наблюдений, а вы-

⁶ Цианоз – посинение кожного покрова вследствие недостатка кислорода в тканях.

шеозначенный юноша стал каждое утро покорно ждать милостыни у ворот церкви.

XV

В селении за рекой после самосуда и похорон устроили тихие поминки по рабу божию Алексею. Даниила – братоубийцу, замурованного рядом с завёрнутым в холстину телом своей жертвы – старались не вспоминать.

Особо не пировали, поскольку до сих пор пребывали в некоторой растерянности, совершенно не понимая, как это они могли забить человека камнями до полусмерти. Так что Алёшу проводили скромно и быстро, даже не позволив душе три дня побродить по свету, как полагается.

Следующий день прошёл в соблюдении траура. Никита Иванович, отец несчастных, за всё время, начиная с казни и заканчивая днём скорби, ни разу не появился на улице. И на поминках не был.

Мать же их после скромных проводов видели один раз, вечером – высохшую, убитую горем женщину, бесцельно бредущую вдоль реки; может, она хотела взойти на мост и броситься, но не решилась. Глаза её были чудовищно пусты, как две впадины от пересохших озёр – иногда лишь загорались они странным, безумным огоньком, но огонёк гас, не успев толком распалиться.

Но не только Малютка горевала о своих детях. Катерина Петровна тоже не находила себе места и, чувствуя, что трагедия произошла с её участием и даже, может быть, из-за неё, металась по своему дому, как по добровольной темнице. Вновь женщина никуда не выходила, правда, скорее не от переживаний, а из-за страха, что на неё все ополчатся.

Увы, осторожность не спасла Катеньку от возмездия, которое деревенские во главе со старейшиной посчитали справедливым. Влияние старейшины после потери обоих сыновей возросло – жители боялись, что он донесёт в Город, и будет расследование, и обнаружат в земляной яме на окраине изувеченное, задохнувшееся в гробу тело с перекошенным лицом. Никита Иванович мгновенно уловил смену настроений и стал понемногу пользоваться ей, укрепляя свои позиции, хотя доносить не собирался вовсе. Вообще-то он довольно легко принял смерть детей и даже обнаружил в ней определённую выгоду – приходилось, конечно, разыгрывать убитого горем перед деревенскими, но старик справлялся.

Во вторник, когда отца Павла посетил епископ, Никита Иванович принялся ходить по дворам и созывать народ к Катиному дому, призывая «расправиться с мерзкой девкой!». Люди собрался мгновенно, поскольку возможность переложить вину на затворницу многим пришлась по вкусу. В итоге решено было обвинить её в случившемся и навсегда заточить в доме, т.е. сделать так, чтобы бедняжка никогда более не могла покинуть своего обиталища и белого света не видела.

Вооружившись инструментом и строительными материалами, к дому женщины двинулось порядка десяти человек, все мужчины, так что перед входом Никита Иванович предупредил их:

– Прикройте глаза крепче, дабы не ослепила вас ведьма своим сиянием! Я же войду с молитвою на устах и буду говорить с нею, и не сможет эта дрянь напустить на меня чары, ибо слово божие во сто крат сильнее!

Так и сделали.

Никита Иванович ворвался с молитвою, за ним слепцы. Волна света чуть не сшибла предводителя с ног, но он устоял. Катенька, как всегда, великолепная, стояла у окошка, печальная и спиной к входящим. Сияющее тело её прикрыто было лёгким платьем, неизвестно откуда взявшимся (возможно, она тайком ездил за ним в город), потому вошедшие в дом судьи могли не опасаться за своё зрение – только за рассудок, привыкший к уродству и нечистотам. Красота, невозможная женская красота оказалась для жителей самым страшным испытанием, настоящей мукой – решили избавиться от красоты.

– Катерина Петровна, – обратился к ней старейшина хриплым, чуть дрожащим голосом; этому голосу он пытался придать жёсткое звучание и выдавливал начало каждого слова прямо из горла, но окончания выходили всё равно с дрожью. – Мы пришли наказать вас, ибо вы повинны в смерти двух моих сыновей.

– Но я не виновата! – взмолилась женщина. – Да и мёртв один только Алёша! Я чувствую, Даниил...

– Не смей упоминать имена их вслух, ведьма! – вскипел старообрядец. – Они мертвы, мертвы оба, слышишь меня!

Катенька молчала, от страха не смея перечесть.

– Не обижайся, – сказал Никита Иванович, облизнув сухие губы (безумные глаза его бегали из стороны в сторону, выдавая тем самым неспособность сосредоточиться, а вместе с тем и вполне естественную для мужчины, пусть даже такого старого, робость перед красивой женщиной). – Не обижайся, дитя моё. Я принесу тебе искупление, о да! Потому как по слову божиему, – тут он многозначительно уставился в потолок, – по слову божиему колдунью или ведьму следует умертвить за сношение с дьяволом, ты же сношалась и прилюдно даже предалась плотской любви с ним! А ведь пришедший чудотворец – дьявол и есть!

Если же мы теперь убьём тебя, как полагается в подобных случаях, то обречём на вечную агонию, на муки! – взгляд старика помутнел. – Искупви вину, дитя моё! Простяется тебе грехи, и кровь отмоется, и позор отмоется, и отмоется всякая нечистота, и тело освятится божественным светом! Искупви, милая!

Мы же поможем Тебе в этом. Запрём дверь твою на замок, сделаем железную обивку, заколотим окна досками, так что погрузится обиталище твоё во мрак. Бесы станут сильны – боже, как бесы станут сильны! Бесы возрадуются во тьме, возрадуются в тебе, но ты

должна побороть их молитвами – таково будет твоё покаяние!

Не бойся ничего, дитя моё! Мы привезли хлеб и чистую воду. Люди не оставят тебя, зная об этом покаянии, так что с голоду не пропадёшь. Под дверью будет маленькое отверстие для подаяний. Еду бери, деньги не принимай вовсе. От них соблазн! Всякого, кто принесёт тебе милостыню, поблагодари, но тех, которые осмелятся говорить с тобой – гони прочь!

Катенька выслушала, не сказав ни слова, постояла ещё немного у окна, любуясь видом реки и горизонта, потом окинула собравшихся взглядом затравленного животного и села на диван. Немного поразмыслив, она вдруг вся подалась вперёд, разомкнула губы, желая как-то возразить мучителям, но голос не подчинился ей, и ничего, кроме протяжного вздоха, не прозвучало.

Тогда женщина забилась в самый угол дивана, ссутулилась, как бы желая себя защитить, и попросила воды. Никита Иванович с заботливым выражением лица подал стакан, предварительно наполнив его содержимым бочки.

Саму же бочку вместе с хлебным возком внесли внутрь.

Старик подал знак своим спутникам, и те ретировались. Посмотрел на Катю отрешённо, скривил лицо и произнёс:

– Дитя моё, бесы сильны! Вся красота от бесов, запомни!

Тут Никита Иванович быстро пересёк комнату, поцеловал женщину в лоб, словно давал благословение, вытащил из кармана псалтирь и свечку и бросил тут же, на край дивана, после чего сбежал.

Дверь захлопнулась. Катенька услышала металлический стук, догадалась, что это снаружи обивают дверь, чтобы её невозможно было открыть, и тихо заплакала – она и сама не знала, от чего: от обиды ли, от прежнего ли чувства вины, разыгравшего в ней с новой силой, или от страха, что во мраке вновь растеряет всю свою красоту.

Под дверью между тем вырезали квадратное отверстие, совсем крохотное, одно за другим стали гаснуть окна.

Солнце в комнате постепенно умирало, и вот уж осталось лишь несколько блеклых лучиков, вползающих через тоненький просвет – то было последнее оконце, самое маленькое, на теневой стороне дома. Поймав на себе эти блеклые лучики, Катя вдруг вспомнила прежние дни: то недолгое время, на протяжении которого ей позволяли привлекать взгляды, восхищать, удивлять собой. Вспомнила демонстрацию, вспомнила чудо и его совсем юного творца, окружённого приятным, едва мерцающим светом.

Четыре доски встали вплотную перед свободным ещё стеклом, рассекли блуждающие по комнате лучики на две части: корень их остался снаружи, произрастая от солнца и тщетно жая заколоченные окна, а несчастные обрубки внутри комнаты вмиг погасли. Сумер-

ки поглотили горестный дом, мягко окутали женщину и принjali в свои объятия.

После того, как дом женщины ослеп, люди на улице собрали инструменты и разошлись, глухие к стонам и всхлипываниям. А Никита Иванович долго ещё стоял у замурованной двери, прислушивался, пропускал каждый возглас пленницы сквозь себя, и с лицом его творилось что-то неладное: то хмурился старик, то улыбался бессмысленной и блаженной улыбкой, а то вдруг начинал тихонько подвывать, как собака на холоде.

XVI

Старейшина вернулся домой только к ночи. Мария Александровна, тихонько сидела в прихожей, у стены, и ждала его, глядя немигающими, досуха проплаканными глазами куда-то в пустоту. Когда дверь заскрипела, женщина встрепенулась, но с места не сдвинулась – не сдвинулись и глаза, только как-то больше прежнего остекленели, как бывает у приговоренного при встрече со своим палачом.

Никита Иванович, впрочем, этих изменений не видел – он прошёл мимо жены, даже не повернувшись в её сторону, напрямик в самую дальнюю комнату. Там в полу проделано было отверстие для спуска в погреб-кувшин, закупоренное плотно сбитой деревянной крышкой. Старик поднял крышку, от натуги крякнув, по узенькой лестнице спустился вниз и оказался внутри тесного, сырого помещения. Стены никакой облицовки не имели, кроме двух противоположных досок, которые стояли для уплотнения грунта, но давно прогнили, так что из-под них на пол сыпались крохи земли. Удушливый земляной запах – стоячей воды и свежего перегноя – ударил старику в нос и на миг оглушил.

Погреб под домом никогда не использовался по назначению – для хранения продуктов вполне подходила яма снаружи, за огородом, а здесь было сделано скорее что-то вроде часовни. Под потолком висело несколько позеленевших икон, напротив лесенки прямо в грунт вдавлено было золотое распятие, на полу под ним торчал огарок свечи. Никита Иванович зажгёт его, вспыхнувший огонёк распугал тени, сидевшие по углам, отчего те беспокойно заползали по стенам земляного котла.

Старец встал перед распятием и принялся молиться, проговаривая слова каким-то неистовым, захлёбывающимся шёпотом. Слова напозлали друг на дружку, как насекомые, сливались единым потоком, ускользали от своего хозяина, менялись без его ведома и желания, и вот уж вместо Имени Господня рыхлые, отчаянные губы проговаривали совсем другое имя – запретное и притягательное.

– Катя, – шептал старик, думая, что молится.

Очнувшись, он рассвирепел, обругал «девку» последними словами и забился в угол, в самую тьму. Тени, в страхе метавшиеся по погребу, накрыли его собой, прильнули к

взмокшему телу, и старейшина ошутил холод их прикосновений – не тот холод, от которого зимой земля стынет, а тот, который насквозь пронизывает человека в предсмертной агонии.

– Что же... дальше? – вслух спросил Никита Иванович, но ни внутри у него, ни снаружи ничего не отозвалось. В безмолвии встретил он своё искушение – настолько безграничное, что никакие заколоченные окна не в силах были его заглушить. Искушение родилось на демонстрации, когда пришлый человек сделал Катеньку красивой, и более не угасало.

Маленький, несносный бесёнок вгрызся старику под ребро в тот момент, заразил его чресла непреодолимым желанием, а голову развратными видениями, и старик не сумел побороть соблазн. Признаться женщине в любви или утолить желание, прибегнув к силе, он не смел – всё же вера его, извращённая одиночеством, была сильна.

Трагедия, произошедшая позже с сыновьями, не уничтожила разъедающих Никиту Ивановича чувств, да и не могла уничтожить, ибо он давно уже потерял хоть какую-то привязанность к собственным детям (для детей у него припасены были «камень и змея»).

С женой, Марией Александровной, он не разговаривал после казни Даниила – Машенька горько оплакивала потерю детей, старообрядцу же не было дела до её горя, и такое положение вещей привело вскоре к безмолвию. В этом безмолвии созрел соблазн старца, как созревают семена под землёй – безо всяких внешних признаков. Но, подобно тому, как семена лопаются и дают ростки, лопнула однажды скорлупа, в которой скрывалось безудержное желание, и плоды одержимости дали о себе знать – старик решил заточить Катерину в собственном доме, чтобы раз навсегда избавиться от источника смуты. Однако источник таился в душе. Душу же нельзя было ни заколотить досками, ни запереть на замок.

И теперь старообрядец рвал предавшую его душу, забившись в угол самодельной своей часовенки.

Через пару часов к нему спустилась Малютка. Остановилась на середине лесенки, поглядела на мужа со странным любопытством, как бы не узнавая в нём человека и пытаясь разгадать, что перед ней за животное да отчего это животное так мучается, отчего прячется. Потом взгляд женщины устремился куда-то сквозь вжавшегося в стену старика, сделался таким же пустым и рассеянным, как прежде, и она медленно, с жуткой усталостью в голосе, произнесла:

– Отпусти ты её.

Никита Иванович резко поднял голову, словно перед ним возникло привидение, и хрипло переспросил:

– Что?

– Отпусти, говорю. Любишь же.

Староста вскочил на ноги, в один миг подлетел к жене и замахнулся, чтобы ударить. Но рука сама собой безвольно опустилась, повисла неприкаянной плетью, и он лишь выдал из себя:

– Молчи, проклятая.

– Да уж всю жизнь молчала, – спокойно отозвалась Малютка. – Слова против тебя не смела сказать. А теперь-то что?

– Да чего ты против меня смеешь-то? – закричал старейшина, вновь замахнулся рукой и почему-то вновь не ударил.

– Я в Город пойду.

– Донести решила?

Мария Александровна ничего не ответила, презрительно оглядела старейшину с ног до головы и поднялась обратно в дом.

– У, проклятая! – гневно повторил старообрядец, однако за женой не последовал.

Он вернулся к распятию, бросил себе под ноги ветхий подручник⁷, валявшийся в углу, встал на колени, уткнулся лбом в землю и принялся молиться усерднее.

Но рыхлый язык и натуженная глотка по-прежнему не подчинялись его воле – слова отрывались от губ кусками живой плоти, теряли всякий смысл, лились несуразным потоком клокочущих звуков. А эти звуки вдруг начинали обретать цвет, обретать форму, и старик уж более не говорил тогда – старик *видел*. Видел, как целовал недавно молодую девушку в лоб, буквально впиваясь ей в кожу сухим своим ртом, истончённым жестокостью, размякшим от влаги и смята.

Он поцеловал Катю перед уходом не для благословения, а чтобы заглушить ноющую боль в сердце – ту, от которой не спасали ни травы, ни настои. Он вспомнил старинную мудрость, рассудил, что коли с глаз долой, то из сердца, конечно, вон, и создал темницу из старенького дома. Он заколотил в нём все окна, оставил за этими окнами свой соблазн и сам заполз под землю, подобно полумертвому змею, чтобы тут, в тихом убежище, зализать свои раны. Но ничего не вышло – боль осталась, и травы не помогали по-прежнему.

XVII

В среду в селении за рекой готовились к празднику первоверховных апостолов Петра и Павла. Люди загодя прибрали да приукрасили местную часовенку (церкви с алтарем не было – неизвестно, снесли ли здание по ветхости, спалили по злобе или вовсе никогда не строили), подыскали кое-какие дары для епископа, который обещал посетить отдалённую деревню в честь торжества, расчистили мост для проезда – уж явно такой важный гость не отправится в путь на своих двоих и воспользуется машиной, а то и несколькими, в зависимости от того, сколько служителей да светских помощников станут его сопровождать. Старожилы, впрочем, противились предстоящему визиту – негоже, мол, принимать у себя епископа, который в Данилов монастырь на поклон ездит⁸.

⁷ Подручник – небольшой коврик у старообрядцев для совершения земных поклонов.

⁸ Данилов монастырь (Свято-Данилов монастырь) – духовно-административный центр Русской православной церкви. В данном случае имеется в

Но старожилы было не так много, да и разлад между ними царил, потому к их мнению мало кто прислушивался.

Теофил должен был появиться после полудня и проследовать сначала в часовенку для проведения службы, потом в здание старой больницы, чтобы освятить разрушенные стены, прочитать проповедь и пресечь таким образом слухи о призраках и бесах. Жители, жадные до любых зрелищ, ждали его – некоторые расположились прямо в часовенке, готовые в любой момент начать службу, а некоторые скучно шатались вдоль берега, не зная, куда приткнуться.

Никита Иванович не относился ни к тем, ни к другим. Всю ночь провёл он в своём молитвенном погребе, не смыкая глаз, а под утро там же и уснул, пропустив всеобщую лихорадку.

И поднялось солнце в самую высь, белое с жёлтой короной, и согнало всяческую тень и всякий сумрак с поверхности земли, и настал полдень, да только Теофил не приехал. Подождали его местные час-другой, высматривая на горизонте торжественную процессию или вереницу машин, крестным ходом пересекающих глиняный пустырь, или хоть какое-нибудь движение, но движения не заметили и разошлись, затаив обиду.

Ещё через час вместо высокопоставленного гостя на лодке прибыл священник из шахтерского городка – отец Тимофей. Он известил группу встречающих, что епископ накануне ещё в срочном порядке вернулся в город в связи с каким-то неотложным делом, поэтому вовремя выехать за реку не успел и появится позже. Сообщив новость, престарелый священник благословил собравшихся, прочёл кратенькую проповедь в честь праздника и отплыл назад. А ближе к вечеру распространились вдруг слухи о смерти Теофила. Иные утверждали, будто смерть то насильственная и будто бы даже архиерея повесили – никто, конечно, не поверил, но гостя ждать перестали.

Никита Иванович пробудился, когда солнце только начало клониться к закату, на одеревенелых ногах вышел из своей могилы и принялся звать жену, но никакого отклика не последовало. Тогда старейшина отправился искать её по деревне и от соседей узнал, что женщина ещё утром ушла на другой берег – вроде как видели её на мосту во время приготовлений к празднику.

Старообрядец никак не мог взять в толк, как это Машенька решила покинуть посёлок без его дозволения, продолжал выпытывать у соседей подробности, но те не очень-то его любили и вскоре прогнали. В расстроенных чувствах, с образовавшейся вдруг дырой в душе, опустошённый, вернулся старик домой, пересёк все комнаты и вдруг ощутил такое жуткое бессилие, что не смог сойти в погреб, а потому без сил опустился рядом. Деревянная крышка,

скрывающая вход в подземную часовенку, была раскрыта, и старик принялся совершенно бессмысленно разглядывать отверстие в полу. Пол, ровно уложенный и покрытый лаком, скрывал под собой тесную нору, где странно соседствовали золотое распятие и чёрные тени; дальше, за распятием и за тенями, начиналась основа, скрытая от любопытных глаз грунтом – подземные стоки воды, отвратительные корни, вертлявые черви и целые полчища прожорливых насекомых. Пожалуй, подобное устройство дома напоминало внутреннее содержание самого Никиты Ивановича.

По крайней мере, так почудилось самому старообрядцу, когда заглянул он внутрь себя в попытке отыскать хоть что-то человеческое – чувство утраты, беспокойство за жену, сожаление. Но ничему этому не нашлось места в его мрачной душе, и Никита Иванович отчётливо осознал, что скоро умрёт.

Он решил подвести сам с собою итоги, увы, неутешительные. Жизнь оказалась унылой чередой ошибок, изгибов, потерь – так вышло. А хуже всего то, что ошибки в этой жизни никогда не признавались, изгибы выходили вкривь, потери не вызвали никакого страдания и потому не замечались.

Старик потерял жену, но гораздо раньше перестал замечать её, тихую, мечтательную и безответную. Потерял сыновей, но от лютой ненависти сам был готов убить их. Потерял веру, его питавшую, но ранее извратил свою веру настолько, что из неё исчезла всякая божественность. Его броня, выкованная из почтения самых жестоких обрядов, вдруг дала трещину, через которую выплеснулась наконец копившаяся годами боль и вылезли наружу все тайные демоны, все жуки и черви, и ужаснулся старец, и в отчаянии принял терзать душу, желая извлечь из её дряблой ткани хоть какое-то чувство. Но по-прежнему не трогали его ни смерть сыновей, ни побег жены, оттого рождался страх. И старик взывал к себе:

– Страдай! Ты всё потерял, так страдай, ну! – однокакого ничего, кроме усталости и холодного ужаса, не испытывал.

О, старец! Ты остался в одиночестве, наедине с горестными образами, лицами, которые то и дело всплывают в твоём воображении. Ты никогда больше не сможешь увидеть эти лица – иных вовсе позабыл, но щемящее чувство, ими вызванное, не слабее, чем от прочих, высеченных в памяти навечно. Твоя жизнь раскрошилась от твоих же грубых, жестоких прикосновений.

И вот уж в комнате на полу вьётся не старик, а горбатая змея, тщетно пытающаяся заползти обратно в свою земляную норку.

Эта змея наконец уползает от входа в пещеру и лезет на второй этаж, в комнату Даниила, с трудом преодолевая ступени. Там, среди пыли, пепла и множества книг, царит тишина и сумрак – не идеальное ли убежище для пресмыкающегося!

Наступает вечер, но закат на горизонте ещё не расцвёл, и воздух в помещении до сих пор горячий. Змея скрывается от жара в кресле

виду, что Теофил принадлежит к новообрядческому (официальному) православию, не признаваемому старообрядцами.

за книжным шкафом, сворачивается скользким клубочком, тарашится безумно на испитанные до самого верха стены, но надписи разобрать не может. Змеиное дыхание звучит громко и прерывисто – высохло жало, хочется пить. Да вот сил на поиски воды не осталось, и жутко клонит в сон, и во сне змея видит себя несчастным стариком, от страха забившимся в кресло.

XVIII

Мария Александровна шла в Город. Она покинула дом на рассвете, когда старейшина бесновался в подземной часовенке, не вполне ещё оглушённый сном, а жители начинали потихоньку подниматься со своих постелей для подготовки к празднику. У самого моста Малютка повстречала трёх женщин, которые что-то полоскали в речке в опасной близости к оползающей части берега, но ничего не сказала им и прошла дальше.

Уже на мосту окликнула её одна из женщин. Мария Александровна остановилась, вся сжалась, будто её застигли врасплох, и повернула голову, чтобы поприветствовать соседку, да не смогла – язык почему-то не ворочался. Впрочем, внешний вид несчастной матери – пустые заплаканные глаза и сохшиеся, как у мертвой, скулы – отпугнул любопытную женщину, и та молча вернулась к полосканию.

В воздухе стояла относительная прохлада, потому дышалось легко. Малютка, впрочем, знала, что ближе к полудню наступит невыносимая жара, и хотела до того времени покончить с делами.

Шла она быстро, не отягощенная никакой ношей – не взяла даже поест. Единственное, что при ней было – тряпичный мешочек с мышьяком, которым старейшина травил крыс в подполе. Мешочек этот согревал ей душу, поскольку обещал избавление от невыносимого горя – не могла она пережить собственных детей, ведь у неё и осталось-то всего несколько воспоминаний, от времени потёртых. К воспоминаниям она прибегала каждый вечер – как только умирал день, оживало прошлое, расцветая тусклыми красками. И тогда прослеживала женщина путь своих милых детей от самого их рождения до зрелости. Не до смерти, нет – не думала она о смерти сыновей, не допускала её до своего разума, чтобы от ужаса не лишиться сил, оставленных для отмщения.

Первенец родился довольно легко, громким плачем возвестив о своём появлении. Вторые же роды, спустя три с половиной года, были тяжёлыми. Младенец был недоношенный, но с крепкими, совершенно недетскими руками, что крайне необычно; весь в материнской крови, он тоже кричал, но гораздо тише, и далеко не сразу, так что врачи приняли его поначалу за мёртвый плод. Нет, Даниил совсем не то, что старший! Он родился больной, с каким-то заражением, и едва не искалечил роженицу. Малютка тогда боялась, что умрёт. От боли, от

разрешов, кровопотери. Однако всё обошлось, и Даниил сделался её любимцем.

Отец же, казалось, ненавидел малыша. Отец был строг, и всегда почти чёрств, но в те далёкие времена ещё любил свою жену или, по крайней мере, испытывал какие-то чувства к ней. Он боялся потерять спутницу, потому рождение ребенка воспринял холодно, как некое посягательство. Для него в самом процессе родов заключалась угроза остаться один на один с собой, да с трёхлетним мальцом на руках в придачу, чего старообрядец до крайности испугался. Выходило, будто новорождённый заявляет какие-то права на жизнь Малютки, вот только жизнь эта, согласно понятиям Никиты Ивановича, принадлежала только ему. А младший сын, взрослея, лишь подтверждал подобные опасения – то на чердаке с матерью запрётся для сочинительства, то защищать её примется. Так и вышло, что Даниил стал ненавистным сыном с самого начала.

Малютка очень тяжело переживала любые ссоры между старейшиной и Даниилом, а уж когда тот отвернулся и от Алексея, совершенно в муже разочаровалась.

Теперь же боль у неё внутри и безмерная тоска по сыновьям обратились в желание отомстить – подобные желания, как известно, съедают человека полностью, обезвоживают. Тело женщины, без того некрупное, высохло; пошло по швам сердце, дряблое, ранимое. Ночами стала посещать бессонница, последний, едва заметный отпечаток мечтательности на лице вместе со снами исчез. Появились глубокие морщины-порезы. Под усталыми глазами, на впалых щеках, на подбородке, около губ – порезы, всё несчастное лицо старостью и горем изрезано.

Боже, когда в последний раз расцветали эти прекрасные губы в улыбке, когда же, как давно? Не тогда ли, когда многие часы проводила женщина со своим младшеньким на чердаке, среди птиц и воображаемых миров? Или, может быть, когда Даниил поступил на учёбу, отчего сердце матери наполнилось гордостью, вполне понятной? Или когда он наконец вернулся, замкнутый, внешне огрубевший, но такой же близкий и любимый? Наверное, в тот раз губы женщины украшала последняя настоящая улыбка. Позже – лишь подделки, вымученные судороги, насильственно сжимающие мимическую мускулатуру.

Жажда возмездия вытеснила сладкие грёзы о будущем. О том, как хороша станет однажды их жизнь, как будут гулять они в саду с цветущими розами, нежными и стеснительными, – все вместе: сама Малютка, быстроногая и весёлая, какой понравилась некогда будущему мужу, тихий Даниил с какой-нибудь невестой (матери нравилось представлять его с невестой), Алёша, порывистый, бесноватый (ну, пусть, пусть!), наконец, преобразившийся глава семейства, Никита Иванович. Дом перестроят, сделают светлее (так, чтобы всегда солнце било в окна), часовенку под землёй уберут совсем. В этой сумрачной, душной часовне крестили детей. Там же старейшина за-

ставляя семейство регулярно молиться – о благоденствии и прощении. Благоденствие не пришло. А прощение... за что, в самом деле, следовало им просить это дурное прощение? Да и разве могут стены, сотканые из сырой земли, простить? Умеет ли земля прощать?

Чудные фантазии не имели смысла. Дети умерли, оба в один день, тот, кому отводилась роль преобразившегося отца, находился на грани помешательства и царапал стены в углу своего одиночного гроба, пластаясь перед распятием и общаясь с тенями. Разве такого благоденствия они жаждали?

Женщина шагала по плохо протоптанной дорожке, сапогами вдавливая в почву мокрую траву. Трава отзывалась на эту мимо-лётную казнь резким, душистым запахом. Выпавшая за ночь роса впиталась в ветхую обувь, просачивалась насквозь и липла к ступням, так что сапоги вскоре промокли – Малютка, занятая собственными беспокойными мыслями, едва ли заметила, что набрала воды.

Поднялся ветер, хлётко и резко ударил по лицу, заставил раскрасневшиеся глаза слезиться. Впрочем, слезились ли глаза от ветра или просто так, или от горя, Мария Александровна и сама не понимала. Просто нахлынуло на неё что-то вместе с ветром, и слёзы скапливались у нижних век крохотными капельками. Затем капельки набухали, лопались и освобождали горькое своё содержимое, отчего по щекам старухи тянулись две влажные полосы.

– Отчего же ты плачешь? Неужто ветер кажется тебе таким жгучим? Но ветер слаб. Тогда у тебя, наверное, горе. И ты плачешь от горя, верно? – голос был тихий, приятный, принадлежал человеку, легко бредущему навстречу, несколько в стороне от тропы и босиком, отчего ноги его блестели, чуть ли не до колен покрытые росой. То был совсем ещё юноша, тонкокостный, хорошо сложенный, окруженный едва видимым сиянием и желающий, по собственному его выражению, «всех-всех осчастливить». За собою он вёз небольшую тележку с бочонком в ней, до середины заполненным. Тележка катилась быстро, словно некая сила придавала ей ускорение, так что особенно напрягаться не приходилось.

Малютка не ожидала никого встретить, от испуга она вздрогнула и замерла. Впрочем, юноша не вызывал опасений и даже наоборот, располагал к себе, так что испуг мгновенно улетучился, и женщина принялась с любопытством его осматривать. И хотя ей не доводилось раньше видеть этого странного юношу, она догадалась, с кем именно встретилась посреди голого пустыря.

– Да, – наконец ответила старуха. – Я потеряла сыновей, и от этого плачу.

Тот, кого прозвали в селении чудотворцем, отпустил тележку – та безвольно покати-лась в низину, к реке, но тут же наткнулась на камень, заехала на него передним колесом и в таком положении, чуть накренившись набок, застыла.

– Мне жаль твоих сыновей, – сказал юноша. – Но почему ты не дома теперь, не оп-лакиваешь их там, где они погребены?

– Я иду в город. Я иду... к следователю или ещё к кому-то, кто сумеет помочь.

– Твоих сыновей убили?

– Да.

Слёз больше не было. Глаза совершенно высохли и теперь болели, недостаточно увлажнённые – ветер вылизал их полностью.

– Ты хочешь возмездия?

– Хочу.

– И ты твёрдо решила идти до самого города?

– Да, я твёрдо решила.

Чудотворец пожал плечами, как бы сомневаясь в правильности ответа, и сказал:

– Я прошу тебя повернуть назад, ибо в Городе ничего хорошего тебя не ждёт. Станешь ли слушать меня?

– Не стану, – отозвалась женщина и вдруг погрузилась – слова юноши показались ей правдивыми, но месть гнала вперёд.

– Тогда иди. А я пойду сегодня в твою деревню, – тут он указал зачем-то на тележку и на бочонок. – Вечером, ближе к закату.

– Да ведь столько ещё времени!

– У меня есть другие дела. К вечеру я со всем справлюсь. Я принёс теперь много подарков...

Лукавая и недобрая улыбка исказила рот чудотворца, и Малютка не осмелилась спросить, какие именно подарки он несёт. Рот чудотворца тем временем сложился страшной щелью, из которой вырвался неожиданно грозный, пророческий голос:

– Надеюсь, ты найдёшь приют в городе. Прощай.

– И ты прощай, – робко ответила Мария Александровна, испугавшись этого неожиданного превращения лица и голоса.

Как юноша ушёл, старуха не заметила, только ощутила внезапное одиночество, будто одна она стоит на всём пустыре, будто чудотворец растворился в воздухе или всего только привиделся, и никогда никого не встречала она на пути в город...

Из авторского дневника, июль:

«Очень часто приходится прибегать к рассказам очевидцев, и это, конечно, может навредить всему делу, и выйдет в итоге не правдивая история, а какое-то совершенно неуместное сочинительство. Впрочем, разговор Марии Александровны К. и человека, прослышшего чудотворцем, мне передали слово в слово, некто Лигнин⁹, и я записал этот разговор, стараясь ничего не упустить. Лигнин, кажется, один из немногих очевидцев, которым можно доверять полностью.

Только описание у меня вышло не к месту, да и главу не удалось закончить. Известно, что ни полиция, ни иная власть за рекой не

⁹ Подробнее о нем в романе «Пещера» (вторая часть трилогии).

Оно сырое. Это первое, что приходит в голову.

А дома в нём нечистые и одряхлевшие, почти все деревянные. Представляю, как там было душно! Влажный воздух жабой ложился на грудь, и люди жаждали избавления. Они ожидали его молчаливо и настойчиво.

Как они, наверное, ликовали, когда небеса разверзлись, окатили свежестью всё земное и подарили настоящую грозу! И я ликую вместе с ними, ликую сейчас, хотя их – именно тех, которые радовались грозе и ждали её – больше уж нет. Пролетел год, изменились люди, потухла их вечная жажда. Но я! Я жажду до сих пор, и мне непременно надо оживить на этих страницах и то ожидание, и ту грозу, и весь их исход».

XIX

Ожидание

Старейшина, отыскавший приют в комнате младшего сына, в мягком тесном кресле, спал не долго. Разбудили его через каких-нибудь пятнадцать минут настойчивым стуком в дверь, с улицы. Каждый удар нежданного гостя не растворялся в воздухе вполне, а проходил через дом лёгкой волною, отчего окна подёргивались в своих оковах – значит, тарбанили с большой силой, что выдавало в госте крайнее нетерпение или, быть может, ярость.

Ноги старейшины, а затем и безвольное тело устремились прочь из комнаты. Каждый удар отдавался болью в голених, от кости к коже через дряблые, наслоённые друг на друга волокна. В глазах тряслось красное, тёмное – редкими точками.

Старик, пробираясь сквозь туман к прихожей, подумал, что спать не следовало. Сон совершенно раскрепостил усталость, до того сдерживаемую при помощи неприятных воспоминаний, и теперь бороться с нею почти не имело смысла.

Подумал Никита Иванович почему-то и о смерти – вновь ему представилось, что скоро он покинет земной мир, но подобная мысль ничего, кроме крайнего безразличия, не вызывала.

На пороге, со стороны улицы, был пророк, нечистый и сутулый, с горящими от волнения глазами. Губы его чуть шевелились, словно он пытался что-то заучить.

– Здравствуйте, Никита Иванович, – сказал гость сдавленно, не подавая руки.

Хозяин дома ответил кивком, затем прочистил горло, вдруг заполнившееся тёплым (так бывает иногда после сна). Он бы, может, и прогнал недоброжелательного своего посетителя, да только сил никаких в нём не осталось.

Перетерпели паузу, весьма продолжительную, затем пророк, немного успокоившись, заговорил:

– Ты довольно меня рассердил, старик. Знаю, не нравлюсь тебе. Но причём же моя несчастная дочь?

поймались, поэтому местные решили, что до города женщина не дошла – сгнула где-нибудь на пустыре или заплутала, свернула в лес да пропала в болотах. Таковы слухи за рекой, на самом же деле М. А. совершенно точно добралась до местной столицы, только оказалась в итоге своего путешествия не у следователя, а в психиатрической больнице, в отделении для стариков, где до сих пор находится. Думаю, она просто-напросто заблудилась, спряталась в каком-нибудь закоулочке и сидела там, пока её не нашли. А как нашли – рассказала свою историю первым встречным, наверняка и о чудесах, и о сыновьях убитых говорила, и об обычае забивать камнями преступников без всякого суда. Да кто бы поверил потерявшейся старухе с полоумным взглядом?

Вообще-то иной раз кажется мне, что зря, зря затеял я книгу. А вдруг я заврался? Вдруг нисколько не приблизился к описанию настоящих событий, а лишь извратил их, перевернул с ног на голову, неверно полагаясь на различные слухи да собственное восторженное восприятие с его неизменной чертой приукрашивать прошлое? Взять хотя бы старейшину Никиту Ивановича – о нём я писал под впечатлением от брата его¹⁰. У брата-то облик и вправду страдающий да от страдания жуткий, посмотреть на него тошно! А Никита Иванович сам по себе... страдал ли?

Или я невольно облагородил жестокого этого, нелюдимого старца? То, что он любил Катю, известно от самой Кати и только. Характер его во всех тонкостях описывал младший сын, отец Павел и вовсе ничего не говорил – не довелось им познакомиться.

Выходит, наверняка я знаю лишь обстоятельство смерти старейшины – уж тут каждое его слово, каждое движение лица знаю! Однако пытаться угадать внутренний мир человека по одним его предсмертным речам не совсем верно. Пожалуй, угадывать всю историю, произошедшую в деревне за рекой, по одним лишь слухам и мимолётным встречам тоже неверно. Или, если говорить точнее, не *честно*.

Но я всего только описываю то, что видел сам, а если не видел – хотя бы слышал от непосредственных участников событий, либо, в самом крайнем случае, уловил по обрывкам чужих разговоров. Потому неудивительно, что путешествие М.А., которое сам я не наблюдал и о котором ничего не слышал, так неудачно прервано. Неудивительно, но правильно ли, возможно ли так делать, когда пишешь книгу? Вот уж не знаю».

Там же, следующий день:

«Я часто представляю селение за рекой сверху – как будто окидываю его взором с высоты птичьего полёта.

¹⁰ *Подробнее о брате Никиты Ивановича в романе «Симфония для гарроты» (третья часть трилогии).*

– В ней соблазн, – коротко ответил Никита Иванович, отступив на шаг. Он, кажется, не был совершенно уверен в своём ответе.

– Катя соблазнила тебя, старик?

– Да. Твоя дочь прекрасна, в ней демон.

– Ты говоришь верно, старик. Демона наслал пришедший. *Чужак*. Тот, что нарушил пост и сотворил чудо. В наших силах исправить его злодеяния. Но следует для начала отпустить мою дочь. У меня нет никого, кроме дочери. Ты способен это понять?

Старообрядец ничего не ответил, только глаза в сторону отвёл. Он вроде как и вопроса не услышал, потому как гораздо больше занимало его собственное нутро – там, под растрескавшейся золочёной скорлупкой, родился отчего-то страх, а вместе с ним родилось удивление. Да, старик удивлялся сам себе, ведь никогда прежде не боялся он местного пророка, презрительно считая его то сумасшедшим, то жалким колдуном.

Поразмыслив немного, покопавшись во внутренней темнице, Никита Иванович обнаружил наконец природу этих чувств и поспешил сменить тему разговора:

– Скажи мне, – начал медленно, слишком, пожалуй, тихо, потому остальное произнёс громче:

– Скажи мне, раз уж ты способен увидеть грядущее: я... (судорожно проглотил слюну) умру скоро, верно?

– Смерти, что ли, испугался?

– Нет, не смерти. Твоих слов о ней. Но мне... мне надо узнать время.

Пророк улыбнулся как-то зловеще, приблизился к собеседнику и вкрадчиво прошептал тому в самое ухо:

– Сегодня.

Старейшина чуть побледнел, но заговорил неожиданно спокойно:

– Я болен? Я потому спрашиваю, что если болен, то стану отходить непременно в мучениях. Те, кого одолевает болезнь, всегда почти мучаются.

– Ах, вот чего ты боишься! – догадался пророк. – Ты не болен. Но не рассчитывай отойти во сне, лежа в теплой постели. Я вижу страшную агонию! Вижу пламя и разудалые танцы над твоим трупом.

– Кто же танцует?

– Уж поверь, ради такого веселья много народу соберется! Или забыл, что не любят тебя соседи? Всякий ведь знает, что справедливое судейство по твоей прихоти учинили тогда!

– Теперь-то что, – безразлично сказал старейшина. – Ничего не исправишь.

– Да ведь одну вещь исправить можно! Пока ты жив, пока способен ещё каяться, заклаинаю тебя – отдай ключи от дома Катеньки, я её освобожу. А коли удастся мне её живую и невредимую найти, я... прощу тебя. Оно так умирать легче, когда простили.

– Мне это не нужно, – сухо ответил староста.

– Что, и участь свою облегчить не хочешь?

– Мне нужно, – повторил Никита Иванович и поглядел на пророка таким тусклым, таким отрешённым взглядом, что тот разом все понял.

Старообрядец, возможно, и хотел бы, чтобы его простили, и даже не имел совершенно ничего против освобождения Катерины Петровны, ведь теперь, зная отпущенный срок, понимал, что женщина уж не сумеет отвратить его от выбранного пути. Однако признать бесполезность совершённого поступка, признать свою слабость был не готов. Втайне, положим, он и давно уже понимал, что слаб и что на протяжении жизни всегда почти ошибался, но признать это перед кем-то не позволяло чрезмерное самолюбие.

Собственник не может ошибиться. Собственник всегда знает, как лучше поступить с собственностью, вверенной ему во владение. Для таких людей даже душа становится со временем собственностью – и ничем больше.

Вероятно, если бы старик согласился, то действительно избавил бы себя от последующих мучений. Только какая-то его часть, скрытая, неизбежно желала мучений, тянулась к ним, причём тяга эта была столь же естественна, сколь стремление воды и всякой жидкости растекаться, принимая форму сосуда. Жажда мучений происходила из собственной Никиты Ивановича врожденной жестокости – только теперь для проявления её, для выплеска не было больше объектов, кроме самого себя.

Пророк понял, что видит перед собою змею, которая пожрала все вокруг и потому принялась глотать собственное туловище.

– Уходи, – сказал старообрядец. – Зла на тебя не держу, да и тебя прошу о том же. Но теперь уходи. Мне хочется быть одному. Я ведь, в сущности, так устал. Так устал, пророк, сил нет! Катерине Петровне передай, чтобы... да к черту!

Он вспылил, не сумев выдать из себя ни слов благословения для женщины, ни слов признания в тайной страсти. Затем тяжело вздохнул и продолжил спокойно, как прежде:

– Не дам ключей. Дверь топором расколешь, – тут старик снова забеспокоился, заискивающе посмотрел на пророка и спросил с какой-то противоестественной заботой:

– Сможешь ведь?

– Придётся, коли ты так решил. Что же, прощай.

– И ты прощай, Петр, – старообрядец внезапно обратился к пророку по имени. – Не врагами ведь расстанемся, а?

– Какие уж тут враги, – смиренно сказал пророк. – Нет у меня на мертвецов обид.

Тут провидец поклонился в знак примирения и в спешке покинул дом вместе с одиноким его, опустошённым обитателем.

Зной на улице к тому времени окончательно спал, небо порозовело, предчувствуя красный закат, а воздух стоял плотный и удушливый, обещая разрешиться грозой. Пророк проследовал мимо двора Никиты Ивановича, по тропке, усеянной разбитыми булыжниками, пересёк деревню, поднялся на возвы-

шение, где стояла его больница, с высоты которой она оглядела близлежащее поле, загубленное стоячей, гниющей водой, и скрылся внутри пристройки.

А Катерина Петровна в то время только ещё проснулась (в голове день и ночь перемешались), если, конечно, можно назвать сном кислое забытье, полусмерть, состояние на грани, когда реальность предстаёт в ином, неприглядном свете, видится сквозь плёнку. Такой сон не приносит ни бодрости, ни спокойствия – изматывает, подобно приступу лихорадки. Потому бедная Катенька, очнувшись в столь поздний час, не ощущала в себе никакой силы, словно всё её тело досуха выжали. Глаза болели, как будто окружающая темнота давила на них.

Однако женщина заставила-таки себя подняться и сумела умыться без особенных трудностей – благо, ориентироваться в темноте она научилась.

Затем выпила немного воды из бочонка, но к хлебному возку не подошла – над ним поднимался дурной, тухлый пар, из чего следовало, что содержимое наверняка вымокло и совершенно непригодно в качестве пищи. Почему так быстро пропал хлеб, Катенька не знала – когда возок только доставили, тот был сух и наполнен свежими, мягкими ломтями, крошащимися от малейшего прикосновения. Но уже к вечеру взялась откуда-то вода – Катя нечаянно угодила рукой в образовавшуюся кашу, – а затем и запах сырого тления.

В помещениях, как и прежде, обитали птицы, которые умудрялись находить разнообразные лазейки как внутрь склепа, так и наружу. Женщина, сталкиваясь с ними, всякий раз пугалась – мало ли что может поджидать во мраке.

А время застыло нерушимой скалой, время несколько не продвигалось вперёд, и Кате чудилось, будто она вовсе выброшена из течения дней и навечно заперта в одной остановившейся секунде, неизменной и опустыленной.

Пленнице казалось также, будто телесные изъяны заново перекроили её, разрушили прекрасную материю, из которой её заново скроили на помосте, въелись под кожу; будто здесь, в невольном заточении, опять без зеркала, она сделалась прежней, какой была до появления чудотворца. Подобные мысли посещали часто, однако совершенно неоправданно – Катенька немного осунулась и только.

А ещё ей безумно хотелось распахнуть настежь окна, запустить в комнаты потоки ветра, сделать болезненно глубокий вдох, на пределе, глотнуть живительный кусок воздуха и удерживать в себе как можно дольше! Увы, Катенька вынуждена была медленно задыхаться – воздух снаружи проникал к ней исключительно через щели между досок, почти все заполненные мокрым. Мокротой. Дом напоминал разбухшее от простуды горло, через которое почти невозможно продохнуть. Выбить непроницаемые окна женщина не могла – не

хватило бы физической силы, топора же или пилы никогда в доме не держала.

Оставалось ждать, пока её освободит отец, если удастся. Если не помешает старик, её поцеловавший. Впрочем, что может этот дряхлый почитатель бога? Отца Катенька ждала почему-то с минуты на минуту, неистово, всеми силами души веря, что ожидание не напрасно. Но где же, где?..

Неужели провидец не появится? Неужели не пожелает спасти свою дочь, которой столько времени посвятил и которая взамен потраченных сил, в благодарность, если хотите, скрашивала его безумное одиночество? Быть может, он злится? Может, проклял и отказался от попыток спасти, считая наказание справедливым? Но голод... Катенька могла умереть от голода. Могла до того помешаться от темноты и недостатка воздуха. И даже если отец опустил руки, если не решается – неужто никто не вспомнит о затворнице? Разве слово старейшины теперь, после жестокого самосуда, стало железным, разве воля его непреклонна, разве он – повелитель!

Несчастливая Катерина Петровна забилась в угол, желая спрятаться от этих неистовых мыслей, которые бросали её из непроглядной топи ужаса в непроглядную топь ярости, но ничего не вышло. «Всё нормально, – говорила она себе. – Это оттого только, что темно и неясно, что теперь происходит. Там возок с гнилью, вода. Тазы для умывания. И ничего, никого. Только кажется, будто кто-то есть ещё. Это в темноте всегда так кажется».

Но... шорох. Посторонний звук, извне. Сердце сжимается до предела.

Наконец! Сухой трепет, со стороны улицы! Металл бьётся о дерево, впирается в него, рубит. Затем полоска света. Ещё одна, невозможно тонкая.

Вдруг на женщину обрушивается поток бледного, розоватого света – он влился в помещение разом, пронзил темноту острыми лучами, прогоняя птиц, призраков, прогоняя сырой мрак, облизывая всё тело пленницы приятным теплом. От чрезмерной яркости резало глаза, так что невольно потекли слёзы.

Дверь проломилась с грохотом и скрипом – женщина, испугавшись, забилась в угол. В образовавшийся проём, тяжело дыша, вошёл пророк. Бросил топор на пол, острием вниз (тот мгновенно вонзился в доску), проследовал в комнату, устало опустился на поломанный диван, стараясь совладать с сердцебиением. В висках стучала кровь, и он приложил руки к вискам, будто боялся, что голова разорвётся от этого стука, подобно переспелому фрукту. Затем принялся раскачиваться, очень медленно, не выпрямляя плеч.

Так продолжалось несколько минут – пророк сидел и качался, будто его охватил паралич, Катя была поодаль на полу, не смея взглянуть на своего спасителя. Вдруг провидец нарушил молчание громким, отчаянным стоном. Дочь села рядом, положила левую кисть ему на плечо, слегка погладила, как бы успокаивая. Убрала руки его от головы, преодолела

вая слабое сопротивление, заставила поднять лицо. Оно было землистое, серое, резко подурневшее. Морщин стало как будто больше, глаза и щеки впали, словно у гнилой рыбы.

– Что же тебя гложет? – спросила Катенька заботливо.

Провидец тупо, бессмысленно уставился на дочь, взгляд его был обращён внутрь.

– Катя! Катенька! – позвал он, будто не замечая никого в комнате.

– Да, отец.

Теперь он посмотрел на неё, не сквозь, как раньше.

– Пойдём со мной, – говорил очень тихо, с придыханиями. – Пойдём в мою пристройку. В детстве тебе там, кажется, нравилось.

– Ты на меня не сердись?

– Нет, дитя, не сержусь.

– Ты плохо выглядишь, отец. Ты спал сегодня?

– Я давно не сплю, несколько дней кряду. Я за тебя боялся очень.

Раскрытую темницу они покинули в безмолвии. Шли медленно – старик слишком устал для быстрой ходьбы. В пристройке Катенька напоила его чаем, горячим, но не обжигающим, омыла влажной губкой (очень уж тот был грязен) и уложила спать. Перед сном отец произнёс, как бы в забытии, ни к кому не обращаясь:

– Мы не можем противостоять тому, что живёт у нас внутри. Мы побеждаем тьму снаружи, спасаем от неё других, но в своей душе... о нет, ни один человек не может.

– Отдыхай, отец. Ты устал.

Тот поглядел на дочь с невыразимой болью, потом жестом попросил наклониться и прошептал:

– Вечером не выходи из дома.

Катерина Петровна кивнула, не придавая особого значения его словам. Накрыла худое, высохшее тело одеялом, до самого почти горла, и отошла к окну, мутному, сквозь которое почти ничего нельзя было разглядеть. Она придвинула себе табурет, села и погрузилась незаметно для себя самой в детские воспоминания. Впрочем, помнила она немного и всё как бы со стороны, будто это с другой какой-то девочкой совершалось, которую она близко знала, с подружкой или сестрой – не с ней.

Всякое событие в момент действия и вообще виделось ей со стороны, представлялось не слишком насыщенным. Так у многих капризных и впадающих в крайности людей – они чрезмерно эмоциональны, чувственны, чтобы воспринимать происходящее целиком, часть их внутреннего зрения вынуждена отвлекаться на собственные переживания. У таких людей каждый жизненный переворот происходит дважды – сначала в действительности, при непосредственном соприкосновении, затем, много позже, мысленно, с дополнениями и порою в иных красках.

Так, перебирая свою жизнь, весьма странную, наполняя её новым содержанием, представляя себя то загубленной праведницей, то королевой, то несчастной потерянной де-

вочкой на мосту посреди ночи и холода, просидела Катерина Петровна до появления человека, которого в деревне нарекли чудотворцем.

XX

Гроза

К вечеру в селении за рекой наступила странная, гнетущая тишина, будто замерла природа для того, чтобы собраться с силами и нанести удар по незащитным, промокшим строениям.

Зашло солнце, скрылось за гребнем леса на горизонте, одарив небо лиловым свечением. И свечение это легло на рыхлый, тёмный круп надвигающейся грозовой тучи. За ней тянулись ещё тучи, поменьше да побледней – постепенно накрыли они небосвод беспросветной тьмой, и лиловая дымка сгнула под их натиском.

Тяжким вздохом отозвалась земля на это вторжение, загудела и застонала – поля в деревне без того залиты были водой, сплошь усеяны мёртвыми хлебными колосьями, преимущественно ржаными и ещё незрелыми. Поверх палой ржи стелилась, плотно укутывая почву, какая-то тёплая болотная трава, вроде ряски. А больше-то и не было растительности – либо сгнила, либо ещё раньше сгорела от июньской жары.

Густые испарения, поднимаясь с земли, пропитавшиеся землёй и пахнущие ею, отравляли воздух, так что дышать становилось невозможно. Измученные духотой жители глядели в окна с опасливой радостью – колосья уж не собрать, рассуждали они, одним дождём больше, одним меньше, а свежести хочется, да такой, чтоб надышаться сполна. Потому жаждали бури – люди, но не почва под ними.

Позже из этой вражды земли и неба действительно родилась буря, возвестив о себе неистовыми раскатами, но пока укрытое тучами селение ещё не было насквозь прошито ливнем, поля по-прежнему выделяли тяжёлый болотный пар, а жители сидели по своим домам в немом ожидании.

Где-то вдали истошно выли собаки.

Чудотворец

Он перешёл мост незадолго до наступления сумерек, нетвёрдо вышагивая, приликая ногами к прокисшей почве, тонкий и сохшийся от жары.

За собою, как и прежде, тащил бочонок с какой-то вязкой жидкостью, что угадывалось по ленивому бултыханию. Теперь бочонок заполнен был лишь на четверть, вероятно, часть содержимого растерялась где-то по дороге. Однако ноша хоть и полегчала, всё равно противилась – путнику с трудом удавалось сдвинуть её с места. Одной рукой, левой, он вцепился в петлю на передней части воза, другой широко и часто размахивал, кажется, для удержания равновесия. Тонкие, белые конечности его напминали плети: левая плеть

крепко примотана к грузу, правая бесцельно рассекает воздух, словно ищет жертву для слабых своих, безвредных ударов.

Ступни его, голые, были стерты совершенно, до крови – оттого он хромал и шагу не мог сделать без боли. Впрочем, неизвестно, способно ли существо, посетившее те места и одарённое волшебной силой, чувствовать боль, или всё это так только, напускное, для вида и создания необходимого впечатления. В конечном счёте, если чудотворец мог сотворить ослепляющую красоту, то не мог ли намеренно, будучи по природе своей неуязвимым, нанести себе раны, дабы приблизиться наиболее к человеку, сродниться с ним, вызвать жалость и получить таким образом временный кров?..

Его встречали. У моста, со стороны селения, несколько человек и дети.

Дети были в основном те самые, что дней пять тому назад схоронили утопленника. Иные из них присутствовали и на демонстрации – на задворках, украдкой подглядывая и удовлетворяя свой невинный интерес к обнажённому телу. Они были, как всегда, беззаботно-мрачны (так всякий ребёнок в деревне – отпечаток обычаев, немой безысходности с малых лет накладывается на него, бездумного, но глубоко чувствующего). На чудотворца глядели с любопытством, впрочем, притуплённо и без особой пылкости.

Остальные же, большей частью старики, испытали разочарование. В чужаке их привлекала неуязвимость, сверхъестественная сила, с которой он так легко справлялся, да надежда на счастье, призрачная, почти невозможная («Я хочу всех-всех осчастливить»). Теперь же нечто физиологическое, нищее, ранимое проявилось в их кумире. Он стал похож на своих измученных поклонников – уставший, с плетью вместо рук и нелепым, непосильным возком. Потому его приняли тепло и даже по-свойски, но надежда, им вселяемая, ушла.

Почти ушло и сияние, покрывавшее доселе тонкое, как кость, щедедушное тело юноши.

– Что с тобой произошло? – спросил один из встречавших, крепкий пожилой мужчина с хмурым, беспоконным лицом, сплошь в язвах.

– Я изгонял бесов, – ответил гость.

– Возможно ли такое? – усомнился мужчина. – Где же?

– В Мертвом Городище. Там бесов – бесчисленное множество.

– Ты видел их? Говорил с ними?

– Да, я видел. Но я не говорил с ними. Они не умеют изъясняться на земных языках, кроме древних. А древние языки мне неизвестны, так что я всё равно не сумел бы их понять. Они всё больше в пустых домах, что на кладбище, селятся. Кладбище теперь до самых жилых построек расширилось. Мор.

– Мор, – повторил старик. Кивнул в знак согласия, медленно, и тут же весь как бы согнулся, сгорбился от какого-то тайного горя. –

Пойдём со мной. Ты с нами поешь, наберёшься сил.

– Да, старик, это мне необходимо.

Жилище пожилого человека располагалось близко от берега. Двухэтажное, с крестом, установленным на крыше, как у многих, оно сильно пострадало во время наводнения и теперь как будто разъезжалось, расходилось по швам. Впрочем, не совсем ещё прогнило, потому было пригодным. Туда и отправились, сопровождаемые оравой детей, вдруг оживившихся, да несколькими встречными прохожими – эти плелись тихонько, даже не зная, нужно ли сейчас идти и если нужно, то зачем.

– Что в твоей бочке, чудотворец? – выскочил ребёнок, мальчик лет одиннадцати, дабы похвастать перед сверстниками. Старик цыкнул на него, но без злобы.

– В ней целебное снадобье.

– А что ещё ты принес?

– Немного огня, горсть пепла и дождевой воды – всему этому будет свой черёд, мальчик.

– Ты принёс что-нибудь мне? – не унимался ребёнок.

– Да. Тебе я принёс мертвеца, для забавы, – юноша странно улыбнулся.

Мальчик отошёл назад, к прочим, почти не придав сказанному значения. Другое дело – старик. Тот глянул на чужака тяжело, с жутким подозрением, зародившимся вдруг в его мозгу, даже испуганно, но вслух ничего сказать не посмел. Только поднял голову, дабы узнать, не ждёт ли и вправду дождя. Тучи были ещё красные от только закатившегося солнца, разбухшие, воспалённые, но, кажется, недостаточно зрелые, чтобы немедленно разрешиться. В толще их замечались разрывы, и каждый такой разрыв напоминал простуженную, слипшуюся глотку. И был жар, и кислый запах, и влага в воздухе, словно небо взмокло от своей болезни.

– Так дождём пахнет, – заключил старик. – Ночью польёт. Может, на всю ночь даже, а?

Он обратился к юноше, вероятно, за подтверждением своей догадки, однако тот смотрел отрешённо, так что никакого подтверждения получить не удалось.

Стариком, пригласившим путника, оказался Пётр Сергеевич – тот самый, у которого некогда Павел убил быка и которого обрёл тем самым на нищету. Петру Сергеевичу было шестьдесят лет отроду, в деревне он жил с рождения, безвыездно, и даже обиталище своё покидать не любил. Года три тому назад ему предлагали место старейшины – несколько деревенских – однако долгожитель отказался, сам ли или по принуждению, потому место сохранилось за Никитой Ивановичем, хотя тот особо не интересовался своими обязанностями. Пётр Сергеевич имел двух взрослых дочерей – обеих благополучно выдал замуж и отправил куда-то в другую, смежную, область, так что с тех пор не видел. В селении же с ним остались сын одиннадцати лет, бывший без особого при-

смотря, и жена в странной лихорадке, почти при смерти.

Пётр Сергеевич знал ещё и прежние времена, куда более суровые, чем теперешние. При исполнении обычая побивать камнями провинившихся или чужаков присутствовал исправно, даже иной раз участие принимал, не отнекивался. Ночью ему из-за этого порою не спалось, либо спалось дурно, с видениями.

Почтенный старец много размышлял о своей причастности к здешним преступлениям, и заключил в итоге, что совесть его мучить не должна. Да разве можно испытывать угрызения, если речь идёт о неизменном, многолетнем порядке вещей, который каждый соблюдать обязан, ибо противиться ему – сумасшествие?

А всё же... нет, не совесть... тоска. Кроваво-точащая тоска донимала старца, подобно зубной боли, что стихает к утру и превращается в пытку ночью – внутри всё вскипало и сворачивалось. Вместе с ней приходила неизменно бессильная, плаксивая злоба. От этой злобы страдала разве только бедная супруга его – она больше не поднималась с постели и вынуждена была терпеть редкие, но ядовитые нападки мужа. Нападки истощали. Старик понимал, что сводит ими больную в могилу, но прекратить почему-то не мог. С годами сделался капризным и так проявлял иногда свой новый нрав – злобного ребёнка. В сущности, он очень хотел стать ребёнком – но какой же из него ребёнок, с прежней памятью, с прежним зрением, которое всякую грязь только и различает?

Дворик, куда вскоре вошли старец и хромой путник, был крохотный, с гниющим огородцем и пустой собачьей конурой в сторонке.

– О, они совершенно отбились от рук, – пожаловался старец, указывая на конуру.

– Хотите сказать, ваш пёс сбежал?

– Ну, иногда прибежит по старой памяти, повоет, поканючит и опять уйдёт. Да тут почти у всех собаки разбежались, от них теперь спасу нет!

В селении и вправду было довольно много собак. Некогда каждую из них закрепили за определённым двором, дали имя, хозяина, обязанного кормить и поить по мере возможности. Но когда разразился голод, зверьё стало собираться в стаи, плодиться и кормиться самостоятельно. В особенно тяжёлые периоды хищники нападали изредка на немногочисленный домашний скот, однако опасности для людей не представляли. Собак, совершивших нападение, старались по возможности отстреливать, только их редко удавалось изловить. К местным стаям иногда примыкали пришлые особи, из других селений. Впрочем, пришлых чаще ждала печальная участь – деревенские не раз и не два находили собачьи трупы, облюбованные птицами, разбухшие от жары и влаги. Подобные малоприятные находки тут же присыпали землёй или сносили в Овражину. К слову, именно в Овражине или её окрестностях и останавливались собаки на постой – там им

обычно удавалось отыскать гостинцы, оставленные в память об усопших. Кроме воровства угощений на кладбище, которые и так доставались мертвецам, никакой беды от зверья не было, и местные особо их не беспокоили – разве что к хлеву старались не подпускать.

Пётр Сергеевич и гость между тем зашли в дом, детвора весело разбежалась, а взрослые сопровождающие ещё немного топтались на месте, не зная, надо ли им уходить теперь и если надо, то куда.

На первом этаже дома была лишь одна огромная комната, без перегородок, с высоким потолком, подпираемым посередине толстой дубовой балкой. Комната одета была в заляпанные, насквозь мокрые жёлтые обои, с несложным рисунком. Дощатый пол надрывно и неприятно скрипел, переваривая подземные воды, потому старик ступал осторожно, на цыпочках. Его жена дремала на втором этаже, в мягкой полутёмной спальне – её решили не тревожить.

Старик разогрел ужин – постную кашу, без молока, смешанную из разной крупы, и чай, густой и терпкий, с обильным осадком. Правда, к еде за все время разговора никто не притронулся.

– Я всё думаю, – начал хозяин, – человек ли ты, в самом деле? А коли не человек, так хуже ты или лучше человека?

– У меня кровь. Моё тело ослабло, сохлось, мои глаза болят от бессонных ночей, и ты сомневаешься в том, что я человек? А какое ещё живое существо способно так мучиться, кроме человека?

– Видишь ли, человек и вправду мучается больше и дольше любого животного, причём о всяком пустяке иногда мучается. И не только животного, но также и любого ангела человек мучается дольше, потому что ангел заключает в себе гармонию. Но разве тебе больно? Разве хромота твоя не притворна? Всякий человек любит свои муки, ненавидя их. Любуется, и многие даже напоказ выставляют. Потому что человек в первую очередь любит себя, и муки свои тоже любит. Но ты... ты любишь человека.

– С чего ты взял, старик?

– Я вижу тебя. Ты бес. Тебя надо бы прогнать, да...

– Ты боишься, что, прогнав меня, не дождёшься от меня помощи? – юноша лукаво подмигнул.

– Верно. Моя жена... Ты поможешь ей? – лицо старца перекошилось от хлипенькой надежды, засияло да тут же погасло и оделось в непроницаемую, мутную кожу.

– Нет, – ответил гость с явным равнодушием.

– Почему?

– Мне не нужно больше помогать.

– Но ведь ты пришёл, чтобы всех-всех осчастливить!

– Помнится, я действительно так говорил. Но я говорил так вовсе не тебе, а той женщине. Дать тебе то, о чём ты мечтаешь больше всего на свете – не значит осчастли-

вить. Осчастливить – значит исправить тебя. А исправить – значит сломать. Теперь я пришёл ломать.

– Ты бес, и своенравен, как бес.

Окно вдруг настезь распахнулось, от ветра. Стекло в раме жалобно заблеяло, и старик бросился закрывать. Тогда вдалеке впервые громыхнуло, ещё без дождя. Однако небо уже сделалось плотным, рыхлым, как брюхо беременной самки, и готово было вот-вот разродиться.

Справившись с окном, Пётр Сергеевич быстро вернулся к столу и заговорил с волнением, как-то нелепо размахивая руками:

– Моя жена испытывает страшные боли, до крика. У неё лихорадка, – тут он выдержал паузу, как бы свыкаясь с теми словами, которые требовалось произнести. – От такой умирают – ты знаешь, ты видел.

– В Мертвом Гороdice.

– Да. Пойдём к ней, наверх! Ты увидишь и всё поймёшь. Тогда ты исцелишь её и...

– Нет. Мне это не нужно.

Старик продолжал, чуть не плача, не обращая внимания на слова юноши – кажется, он не слышал ответа:

– Она очень красивая, хотя уже не так молода. Эта последняя, отцветающая красота наиболее скоротечна, и она же самая выразительная. Её глаза ещё не потускнели, несмотря на болезнь. И... она улыбается! Всё ещё, подавляя боль! Ведь ты умеешь избавлять от этого недуга, почему же отказываешь мне? Разве я не дал тебе кров!

– Ты счастлив, когда смотришь, как она улыбается, со всей безысходностью, с любовью и немым укором. Разве я могу лишиться тебя такого счастья, старик?

– Но...

– Нет, слушай! Твоя жена умрёт в начале зимы, а до того – наслаждайся тем, как она тебе улыбается! Мне не нужно ей помогать.

В это самое время дверь распахнулась, впуслав внутрь поток тёплого, сырого воздуха и мальчика вместе с ним.

– Чего тебе! – закричал старик в слезах, срывая на сыне злобу.

Ребёнок вздрогнул, повернулся было назад, но не ушёл. Оглядел комнату каким-то взбудораженным, диким взглядом и затем, не моргая, уставился на отца.

– Что с тобой? – спросил Пётр Сергеевич уже спокойно.

А мальчик продолжал смотреть ему прямо в лицо, часто моргая глазами и не в силах вымолвить ни единого слова.

– Да чего случилось-то?! – старик от волнения бросился на сына и принялся со всей силы трясти его за плечи, так что голова ребёнка моталась из стороны в сторону, как оторванная голова куклы.

– Там собаки, – дрожащим голосом выдавил из себя мальчик, и Пётр Сергеевич наконец отпустил его. – Они притащили мертвеца. Мы решили, что это с Овражины. Я... я показать могу.

Мальчик тут же высочил на улицу, без ответа, испугавшись гневных, опустевших глаз родителя.

Старик так и стоял посреди комнаты, рядом со столом. Мгновение не двигался вовсе, поражённый, затем раскрыл рот, как бы силясь что-либо выдать, но не смог и молча вернулся к столу.

Чудотворец поднялся со своего места, поблагодарил за так и не тронутый ужин и вышел вслед за мальчиком. Во дворе он вновь соединился с возком, оставленным на время отдыха, и отправился к дому старейшины.

Вокруг только начало темнеть.

K***

Никита Иванович после разговора с пророком больше не спал. До самого позднего вечера просидел он в том же кресле, в комнате Даниила, ни о чем особенно не размышляя и ничего почти не чувствуя – так, пытался иногда что-то припомнить, да сам не мог понять, что именно.

Его нервы натянуты были предельно, надрывно, подобно гитарной струне. И струна-то эта натянута была не так, как следует – чересчур, слишком, так что от малейшего подёргивания могла порваться. И звук от неё шёл мерзкий да тягучий – Никита Иванович этот звук отчётливо внутри себя слышал и всякий раз передергивался, словно в лихорадке.

Он впал в состояние апатии и абсолютной покорности, всё чего-то ждал, цеплялся за своё ожидание, как за последнюю связь с окружающим миром. А иногда находила вдруг предсмертная блажь, и он натужно хотел вспомнить, непременно вспомнить, да только образы всё лезли не те: лица, которые он когда-то давно видел – некоторых вовсе, кажется, не видел, а только теперь, в этот самый момент, выдумал; поцелуй, болезненный и приятный; Малютка, почему-то в слезах (это он скорее представлял, потому что никогда она при нём не плакала); душная Овражина, где в ближайшем будущем ему предстояло оказать-ся. Жадная яма поглотит мгновенно, раздавит, сотрёт в своём чреве, и это даже могло быть страшно, да только всё не то, всё не то! Надо было вспомнить другое, важное... впрочем, может, и вспоминать нечего – просто сон.

Когда появился чудотворец, Никита Иванович принял его в той же комнате – дверь в дом он после разговора с пророком не заперал. Юноша на этот раз ввалился в помещение прямо с бочкой, не пожелав почему-то оставить её во дворе.

– Здравствуй, – сказал он старейшине с напускной доброжелательностью.

– И ты. Тебе что-то нужно от меня?

– О нет, – юноша усмехнулся. – Это тебе нужно. Я принёс избавление.

– Да разве я хочу избавления? У меня ничего и никого нет – от чего и от кого мне избавляться, по-твоему?

– Чего же ты хочешь в таком случае?

– Чтобы ничего больше не было...

Тогда упали первые, тяжёлые капли дождя и со двора донёлся неистовый лай собачьей своры.

– Что в твоей бочке? – спросил Никита Иванович, не обращая внимания на звуки с улицы и тупо, бессмысленно рассматривая эту грязную, на четверть заполненную бочку.

– Мой тебе подарок.

– Зачем?

– Когда начнется гроза – а это произойдет совсем скоро – ты обольешь жидкостью себя и свой дом изнутри, по углам.

– Опять колдовство?

– Нет. Но после этого ничего больше не будет, как ты и хотел.

Лай во дворе стал громче, превратился в один сплошной, протяжный звук, с хрипом и скулением.

– Да что там! – воскликнул наконец старик. – Собаки? Они дерутся?

– Им никак не удастся поделить добычу.

– Что же так заинтересовало их?

– *А ты погляди, что у тебя во дворе*, – юноша скривил гримасу, давая понять, что находка не покажется хозяину приятной. – И затем воспользуйся моим подарком.

– И ничего не будет?

– Ничего.

– А Бог?

– А что Бог?

– Его тоже не будет?

– Но, мне представляется, Он существует всегда. Существует отдельно и независимо от вас – с одной стороны. С другой же, это необходимое продолжение человеческой природы. Вы сопричастны Ему, и это вас удручает. Но здесь я бессилён.

– Потому что ты не от Него. Ты бес.

– Нет, не бес. Я вообще не верю в бога. Как же я могу быть бесом, если, как и ты, ничего не знаю.

– Но ты можешь обещать, что, по крайней мере, кроме Него ничего не будет?

– Ничего, – подтвердил чудотворец и исчез за дверью. Старейшина подошёл к окну, проводил ненавистного юношу взглядом. Затем поглядел на небо – оно сделалось совершенно чёрным и в некоторых местах уже полопалось, дав жизнь нескольким крупным, холодным каплям. Впрочем, ливень ещё не разошёлся.

– Ах, кабы ничего *там* не было. Ведь оно легче, если ничего.

Никита Иванович распахнул окно настежь, высунулся, окинул взглядом двор. Два десятка собак, из прежних деревенских, устроили там настоящую бойню за некий длинный, мягкий предмет, обёрнутый тканью. Лай оглушил старика. Он закрыл ставни, спустился вниз...

Дальнейшее и последнее в его жизни произошло очень быстро.

Когда Никита Иванович, в сильном волнении, оказался на улице, он тут же совершенно, до нитки, промок. В те несколько мгновений, за которые старик преодолел лестницу и затем – прихожую, небо наконец разверзлось.

Полилось обильно и яростно.

Каждая язвочка, каждое углубление в земле успело до краев наполниться. Вода смешивалась с грязью, с кусочками дна, ею же потревоженными, мутнела и невероятно, как слюна, пенилась. В образовавшихся лужах играли, искрились всполохи от новых потоков.

Никита Иванович нетерпеливо смахнул со лба мокрые пряди, направился в ту часть двора, какую совсем недавно оглядывал сверху – позади дома. Движения его стали чересчур медленными, упругими, как будто приходилось пробиваться сквозь слои ваты.

Лай заметно стих – животные, застигнутые дождем врасплох, прижались к забору, недовольно похрапывая. Старейшина почувствовал запах их шерсти, тошнотворный, скользкий, потный. Запах спицей врезался в нос, горло, так что стало почти невозможно дышать. «Как отвратительно, отвратительно», – пронеслось в голове, но где-то очень далеко, нехотя. Никита Иванович вдруг снова начал что-то пытаться вспомнить, совершенно безвольно и не придавая значения. Да ведь всё не то, не то... ах ты, боже мой, как отвратительно! И какая непроницаемая пелена! Водянистая, жирная пелена – лезет в лицо мокрым своим, скользким языком!

То, что разъярённые собаки принесли с собой и из-за чего так долго потом дрались, лежало теперь посреди двора, брошенное, влажное, белое, обернутое куском материи. Один пёс, рыжеватый, одетый в свалывшуюся шкуру, подбежал и осторожно понюхал мертвеца, но, завидев старейшину, жалобно заскулил и отскочил к остальным.

Ткань на безрадостной находке кое-где была разорвана, однако лицо оставалось плотно закрытым. «Простыня» – подумал бедный, старый человек и тут нашёл то самое, что силится припомнить. Это самое лицо, накрытое теперь тканью – его он никак не мог вообразить, с того дня не мог! Никита Иванович долго всматривался в просвечивающие сквозь намокшую простыню черты, заострённые смертью, затем несмело протянул руку, откинул материю, напрягаясь всем телом так, словно поднимал не кусок бязи, а каменную глыбу, и увидел ничем не прикрытое мёртвое лицо. Внутри у старика что-то задрожало, и как будто задвигался огромный, прожорливый червь – вырос ли этот червь на благодатной почве страха, или был тайком вскормлен забытым горем, старик и сам не понял.

На одеревенелых, непослушных ногах, потеряв теперь всякий интерес к собакам и их жуткому подношению, он вернулся в дом. Вероятно, хотел подняться на второй этаж, чтобы вскрыть бочку и воспользоваться её чудодейственным содержимым, но вместо этого тут же, у двери, рухнул навзничь. Острая, нестерпимая боль пронзила левую сторону его груди. Старик заскулил, как только что скулил перед ним пёс, кашлянул, чтобы хоть как-то продохнуть, увидел кровь, хлынувшую из собственного рта, и помер. И больше ничего, ничего.

В это самое время чудотворец, не оглядываясь, пересёк мост. Его исчезновение ознаменовала ослепительная молния, за ней ещё одна, бледнее; следом громыкнуло.

Отец Павел

Павел, сославшись на болезнь, к тому времени, и даже чуть ранее, завершил праздничную службу. Прихожане, особенно те из них, кто не смог присутствовать на всенощном бдении, выразили неудовольствие в связи со столь ранним окончанием торжества, но – что поделывать – болезнь.

Потому церковь вечером, ещё засветло, совершенно обезлюдела. Только на крыльце, производя невозможный скрип, отирался зеленоглазый нищий, появившийся накануне. Павел порывался прогнать его, чтоб раньше следующего утра не показывался, да не нашёл на это сил.

Он и действительно был очень плох. Лихорадочный, мокрый кашель, прилипший к нему, теперь давал о себе знать почти ежеминутно. При этом из горла всякий раз текло густое и бурое, наподобие лавы, и горячее, как лава. Лицо его отекло, приобрело синюшный оттенок, кожа постоянно выделяла пар. Священник задыхался, чувствовал, как горит его жалкое, плотное тело. Он, кроме прочего, испытывал ужасную тревогу, которая с болезнью, вступившей теперь в полную силу, сделалась ещё ярче, ещё невыносимей. Да и совершенно, до детского даже состояния, ослаб.

И запах. Бедного служителя с самого утра преследовал невообразимый, ранее не слышанный запах – тухлого железа.

После службы Павел зарылся в одеяло на койке, однако уснуть ему так и не удалось – мешали туманные, навязчивые размышления.

«Надо полагать, к дождю», – пронеслось у него в голове невольно и как бы без его участия. Тогда священник принялся думать, а что, собственно, к дождю, и вскоре сам себе ответил: «Запах. Конечно, если вдуматься, то это невозможно – чтобы так пахло. Да ведь и железо, вероятно, не способно тухнуть или портиться иначе, кроме как ржаветь. Но, надо полагать, если б оно портилось, то именно так смердело бы потом».

Мысль эта оборвалась, расплавилась от жара, разъедающего тело отца Павла, и на смену ей пришла новая: «Воспаление. Вот что меня подъедает. Это меня постоялец мой заразил, конечно. Такое отчуждение – такое безумное отчуждение!».

От разгорячённого воображения служитель вдруг представил, будто тело его расщепляется на мельчайшие частицы, и в каждой находится изменившаяся, деформированная душа, бьётся, бьётся под тонкой оболочкой, но высвободиться и спастись не умеет.

«Так умирают?» – спросил священник у окружающей пустоты и закашлялся. Горькую ржавчину, скопившуюся во рту, сплюнул прямо на пол и, утеревшись, вернулся к туманным своим рассуждениям: «Я – это уж не я теперь.

От меня отделяются крупитцы – то рука, то лицо, – разум растворяется, я превращаюсь в пыль. Так нельзя, ведь скоро проверка.

Ах, проверка! А дотяну ли я до неё? Епископ будет невозможно рад! Скажет, поди, наказание божественное. Он непременно... он такое не упустит».

Больше о проверке и последствиях её священник не думал. О болезни тоже почти не беспокоился. Мы вообще часто в минуту, когда нам угрожает опасность, отвлекаемся, начинаем думать о другом, постороннем, но с той же мучительной неизбежностью, как если бы думали о самой опасности.

«Всё как неживое, всё поблекло», – Павел окинул взглядом грязноватую комнатку и зажмурился. Глаза и лоб горели, а в голове продолжали пролетать ошпаренные мысли:

«Здесь ни у чего и ни у кого нет своего лица, а если есть – оно уродливо. Сон... пожалуйста, сон!».

Но сон так и не пришёл. Отдуваясь, священник поднялся и на нетвёрдых ногах, готовых в любую минуту подогнуться, вышел в притвор.

В притворе царил крошечный мрак, и отец остановился, желая привыкнуть к темноте. Что-то в нем происходило, кроме болезни, кроме тревоги, что-то светлое, вроде тайной радости, причины которой он, правда, не понимал.

Очередной приступ кашля надорвал ему глотку, во рту вновь появилась горечь.

Успокоившись, священник отворил двери, сделал несколько шагов и оказался на свежем воздухе, почти вплотную к находившемуся там нищему. Тот испугался, стал спешно собирать пожитки – всего один грязный узелок – и пояснил, что уже уходит, что хотел только немного посидеть.

– Ничего, – сказал Павел и вдруг, подчиняясь странному, противоестественному для него порыву, какие и раньше случались, добавил:

– Да и уходить незачем. Остайся – ночевать тебе всё равно, я полагаю, негде.

– Негде, – согласился юноша, нерешительно сжимая в руках скудный узелок, как бы прикрываясь им от нападения.

– Скажи мне, – начал отец о другом, – ты не чувствуешь запаха? Такой кислый?

– Нет, не чувствую. Вам, батюшка, это по болезни чудится.

– Мне недавно тоже подумалось, что по болезни. Но он такой навязчивый, знаешь ли.

Юноша заглянул старику в глаза, пытаясь выяснить, в своём ли тот уме, и обнаружил в этих глазах сияющий, бездумный туман.

– Вам бы прилечь, отец Павел. Или лекарство.

– Нет, не нужно. Я хочу пройтись немножко.

Священник медленно спустился с крыльца, стараясь как можно меньше сгибать ноги в коленях, отправился в сторону пустыря, но, отдалившись самую малость, вдруг обернулся и прокричал нищему:

– А ведь я тебя знаю! Тебя похоронили десять дней назад!

Только тогда начался дождь. Ошеломлённый нищий скрылся от него в церкви, а Павел продолжил свой путь, вовсе не замечая никакого дождя.

Через некоторое время, впрочем, он остановился, привлечённый особенно мощным громовым раскатом и ещё едва различимым нежно-розовым заревом, со стороны противоположного берега.

– Неужто пожар? – прошептал служитель. – Да ведь деревня за рекой горит!

И, словно в подтверждение этому, к небу устремились вздутые клубы дыма...

Провидец

На самом деле горел всего один дом. Старейшины. Впрочем, когда к тому месту подоспел пророк, пламени ещё не было. Только ливень, стеной, холодный и пахнувший почему-то железом.

Предсказателя разбудили детские крики, с улицы – что-то о мертвеце. Он поднялся почти сразу, повинувшись настойчивому внутреннему голосу. Голос говорил: «Вот оно, бесконечно ожидаемое, рождающееся во снах, ужасное, но несущее благо – наступает».

Пророк был липкий после сна, по-прежнему уставший, но внутри он пылал от радости. Вновь привиделся ему колдун, кричащий с горы, ущелье, люди, плотно и безнадежно в нём сжатые, и всё то, прежнее, да так ярко, ясно. Только на сей раз небо во сне, перед самым пробуждением, с грохотом разверзлось, породило несколько острых, как точеное лезвие, ломаных молний, одна из которых ударила в стену ущелья, проделала в нём огромную, рваную брешь, и это означало свободу, означало нечто гораздо большее, чем свобода – такое, чего пророк не мог выразить вслух и лишь старательно удерживал в сознании.

В конечном счёте, каждый стремится к обретению счастья, неизбежно, неизбежно, вне плоти и во плоти, не подозревая, что подобное стремление, воспаляясь, может привести к пороку. Счастья не следует искать, оно – случай. Потому мы так жаждем, чтобы появился некто, кто принесёт нам это сладкое, пьянящее ощущение – полное, целиком, отдаст его в наши трясущиеся руки, вложит в сердца, выжжет в бедной, искалеченной утратами памяти, и ничего не потребует взамен, потому что всего лишь «хочет всех-всех осчастливить». Так неужели можно полагать, что он действительно ничего не потребует взамен?

О, мы падки на подобную доброту, ибо устали скитаться, да ещё творим мерзкое от усталости. Так ведь нас за это непременно накажут, за мерзкое-то; тот же, который хотел осчастливить, и накажет. И никакого счастья.

Но после – тем, кто выдержит, преодолеет и не вымокнет до костей – после

снизойдет благо. За ним – надежда. За ним – обретение.

Размышляя таким образом, пророк пошёл к непрочному, заплаканному с внешней стороны окну и наконец услышал дождь. Звук был шелестящий, монотонный, лился мягко и настойчиво – врезался в стройный ход мыслей, наполнял собою тело, сознание, пространство. В сердце от него проснулась саднящая тревога, словно дождь, невзирая на все хорошие предчувствия, предвещал дурное. Затем вспыхнула молния, вырвав розовые и жёлтые клочья окружающего мира – рвала с кровью, с криком, с громом.

Провидец отстранился от увиденного на два шага, огляделся, как бы ища кого-то поблизости.

– Катя! – позвал он. Но никто не отозвался, и ничего не отозвалось.

Падчерицы нигде не было. Даже сияние, её сопровождавшее, рассеялось – вероятно, женщина ушла около часа тому назад. Теперь данное обстоятельство казалось не особенно страшным, потому как если она отправилась по каким-либо причинам на другой берег – именно так пророк решил, – опасность ей не угрожает.

На подоконнике между тем лежала записка, однако разобрать её не представлялось возможным – вредоносная влага, просочившаяся сквозь щели, уничтожила больше половины букв.

Дождевые капли разбивались об оконное стекло с силой, рассеивались на мириады частиц. Эти непокорные, непорочные частицы прилипали к поверхности, полные грусти и отражений. Мутные, тёмные без солнца, липкие. И всё липкое, всё вокруг – как мёд. А за этой медовой пеленой – орава детей да несколько собак. Дети режутся, промокшие насквозь, кричат о мертвеце – весело, жутко. Их четвероногие спутники беспрестанно скулят да жмутся к ним, вероятно, от холода, накопившегося в костях.

Холод заглядывает в здешние края во всякий почти вечер, даже теперь, летом – незаметный для ребятни, остро ощутимый всеми прочими. От соприкосновения с ним тело зябнет, дрожит, невозможно умаяясь, а всё вокруг – каждая поверхность, каждый предмет – становятся нетвёрдыми, туманными, как на старой картине красками, где краски выцвели, и едва заметная серая дымка размазала бледный фон. Холод. Пророк пропустил его сквозь кожу и вышел навстречу неистовым небесным потокам.

Путь его пролегал через развалины больницы, глухие, страшно обнажённые и пыльные, и дальше, напрямик, к жилищу деревенского старейшины – именно туда увлекали его дети. Он шёл вместе с ними, как на привязи, оглушённый громовыми раскатами, облепленный струпами дождя, вдыхая бесконечные запахи всего влажного – земли, дерева, одежды. От травы и листвы пахло мёдом, свежестью, от построек – гнилым деревом. Со стороны больницы несло гарью, почти невы-

носимо, если бы не другие, более приятные примеси. От земли, корка которой теперь совершенно размылась, исходило что-то трупное, тонкое, едва различимое – запах удушья. И было что-то ещё, горькое, как полынь – так пахла сама вода, медные, обильные потоки её.

Воздух казался плотным, так что сложно было продираться сквозь него, и в то же время был разряженный, как бы разбитый – это, вероятно, от молнии.

Под ногами растекались лужи. Дождь хлестал по ним, испещрял мелкой дробью, отчего они ширились, кровоточили грязным и пенистым.

Повсюду были звери, голодные, измождённые, с разъявленными пастьями – лаяли, скулили. От их лая и скуления пророку становилось не по себе. Звери представлялись его безумному воображению выходцами из преисподней, жалкими, неприкаянными, доведёнными до отчаяния мраком и огненными столпами и потому – обзлёнными, готовыми накинуться в любой момент, созданными для грызни, для вражды, для нападения. Пророк шаркался от них, избегал глядеть им в глаза – красные и слезящиеся – но шёл туда, куда шли они, влекомый, замороженный. Туда, где обосновалась стая вместе со своим подношением и куда направлялась теперь заинтересованная детвора – ко двору старейшины.

Там успели собраться почти все деревенские. Стоял невозможный шум, из беспокойного, невнятного сонма голосов доносилось:

– Что же это такое? Что мы натворили? – точь-в-точь как *тогда*, при казни Даниила.

Жертву его, обмотанную плотным куском материи, собаки притащили обратно в селение. Вероятно, вида мертвого сына сердце старейшины и не выдержало. Самого Никиту Ивановича, бездыханного, перепачканного в крови, вылившейся из собственного горла, волкли наружу, чтобы положить рядом с убитым отпрыском.

Тела Даниила нигде не обнаружили – предположили, что почва, опускаясь, раздавила гроб, который братьям предстояло разделить между собой навечно, и юноша, выбравшись наружу, сбежал. Впрочем, живого его также не видели, потому возникали обоснованные сомнения.

– Братоубийца мог остаться в Овражине, не тронутый животными, – говорили одни.

– Но что, если он отправился в город? – возражали другие. – Донесёт ли он?

– Да братоубийца ли, в самом деле? – спросил кто-то в толпе, однако его тут же освистали, тихонько, дабы не беспокоить усопших. Да и какой смысл сомневаться, когда всё очевидно!

– Вспомните, – призывали местные. – Вспомните-ка, в каком состоянии его отыскали! Сумасшедший, с ножом в руках, в полном беспомоществе от *содеянного* – как же не он! Да и кто, кроме него?

Этот последний, главный аргумент заставил сомневающихся умолкнуть. Только на самом деле многие желали этой смерти и спо-

собны были приблизить её таким именно образом, а потому вопрос: «Кто, кроме него?» предполагал бесчисленное множество ответов. Ведь до сих пор неизвестно, убил ли Алексея младший брат, или же это сделал кто-то другой, а Даниил оказался в беспомощности не от содеянного, а всего лишь от увиденного.

Пророк затерялся в этом запуганном, клокочущем собрании тел, детей, животных, устроивших пир – никто вовсе не замечал его, отверженного. И он был среди них, но не единокровно с ними, оставаясь целостным, самостоятельным, не подверженным всеобщему безумию. Смирненно наблюдал за происходящим, ожидая, что вскоре и для него, одинокого, найдется здесь место.

Из жилища мертвеца тем временем вытащили кое-что ещё – возок, оставленный чудотворцем, с бочонком, на четверть заполненным жидкостью. Жидкость оказалась маслянистой горючей смесью. Недолго посоветовавшись, бочонок вернули обратно, а затем подпалили строение, изнутри, приговаривая, словно в бреду:

– Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нём!

Таков ещё один обычай – огнем провожать того, кому уже не понадобится дом. Ибо дом существует для того, чтобы было, куда возвращаться после долгого, утомительного пути в неизвестность, а разве кто-нибудь хочет возвращения покойника?

Стены были засыпные, с толстой прослойкой опила, потому вспыхнули мгновенно, несмотря на сильный ливень. Вскоре огненный столп от воспламенившегося бочонка прорвал крышу, подобно тому, как в недавнем сне молния прорывала ущелье, и деревянная постройка в агонии рухнула, разбрасывая искры, горящий опил, клочья дыма. Дым повалил обильно, тёмный, удушливый, с крупными пепла. Жертва во искупление была принята.

Через некоторое время беспощадный дождь совершенно погасил пепелище, так что ничего не осталось, кроме пустого, чёрного двора да двух тел в нём.

Тощую корову, составлявшую всё хозяйство прежнего старейшины (вторая совсем недавно померла от голода), решили отвести в общий хлев – лишённый ворот, проломленный, до чего никому не было дела, – однако, перепугавшись пожара, при попытке вырваться она поломала себе ноги, так что её пришлось пристрелить. Скудной плотью тут же занялись псы, разогнать которых не представлялось возможным.

Тело старейшины до времени приютит в своём пристрое провидец, сына же его предали земле на прежнем месте, у края Овражины. Материю разворачивать не стали. Ткань и без того была совершенно промокшая, так что сквозь нее различались ужасные, истонченные черты мёртвого лица.

Между тем на небо стремительно выскочила луна, обожжённая недавним пламенем, синюшная, будто отравилась сажей, надкушенная с одного края и мутная от потоков во-

ды. Грузные тучи теснили её со всех сторон, но серебристый, спокойный свет все равно достигал селения – такого печального, грязного, размытого селения. Было в этом свете что-то умиротворяющее, отголосок надежды.

Дождь всё шёл, медовый, горький, не истощаясь. Дождь нёс избавление земле, залечивал дневные раны, убаюкивал и постепенно погружал землю в сладкий мир ночных грёз. Вместе с ней в этот мир погружались и люди – впервые за много лет они спали, не видя кошмаров.

И больше ничего, ничего...

XXI

Исход

Прошло два дня после разыгравшейся в селении бури. На третий назначены были похороны Никиты Ивановича. Погребение решено было провести не на местном кладбище, а в Мёртвом Городище – вероятно, жители хотели избавиться от всякого напоминания о жестоком старейшине, но в то же время не могли не отдать ему положенных почестей, ибо он заключал в себе прежний уклад, являлся родоначальником и приверженцем этого уклада, а прошлое, даже неприятное, следует провозгласить достойно.

Пятнадцатого июля был приятный, солнечный день, довольно ветреный, но тёплый. Утром тело на лодке доставили в тамошнюю церковь – глухую, закрытую обитель отца Тимофея. Чуть позже, также по реке, прибыли те, кто хотел проводить усопшего в последний путь – на удивление их оказалось немало.

Пророк, вспоминая своё мимолётное примирение с покойным, также прибыл на похороны. В церкви он всё заглядывал покойнику в лицо, жёлтое, неподвижное, с чрезмерно выпирающими скулами, морщинистое и почему-то скорбное, несмотря на то, что ему, бездушному, следовало ничего не выражать. Пророк глядел на это жуткое лицо, не в силах оторваться, и вспоминал, как поутру омывал тело, избавляя от одежды, ворочая эту окоченевшую, твёрдую, как камень, холодную оболочку. Затем поверх неё натягивал костюм – бесполезный чехол, необходимый по случаю торжества смерти. Но ведь не существовало никакого торжества, ибо, ворочая это бледное тело, пророк вдруг понял, что ничего торжественного в смерти нет – одно скользкое отвращение. Теперь он был из-за своего открытия сосредоточенно-мрачным и совершенно, кажется, не вникал в службу.

Тимофей – сморщенный, белолицый старик – читал псалтири по усопшему, возвышаясь над распахнутым гробом. Голос его гремел, эхом раскатывался по всему помещению, наполняя звонким своим, спокойным звучанием всю среднюю часть храма. Здесь скопилось человек двадцать, остальные и большей частью местные были в притворе.

Слова текли на одной, непоколебимой волне, ровно, размеренно, торжественно, без

сумятицы, без прерываний, как требует того порядок:

– Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного преставльшагося раба Твоего, и яко Благ и Человеколюбец, отпускай грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная...

Пророк не слушал, не из непочтительности или пренебрежения – нет. Просто мысли его и даже слух необратимо занимало выражение лица восковой фигуры – недоброе и безо всякого оттенка сожаления, словно вовсе он не нуждался ни в каком оставлении вольных и невольных своих согрешений. Даже после смерти остался он жесток к самому себе и ко всем прочим.

Окружающие стояли смиренно, равнодушные к мертвецу, втайне ненавидящие его, но пришедшие отдать ему последнюю дань, дабы проститься с тем прежним, что олицетворял непреклонный старейшина, успокоить свою совесть и лишний раз проверить, не надобно ли ей и теперь надрывно кричать и скрестись изнутри, действительно ли они прощены, избавлены?

Отец Тимофей продолжал, недвижимый, сам почти как покойник. Только уста его беспрестанно шевелились, порождая своими судорогами спокойное, сильное течение.

– Пресвятая Троице, помилуй нас, – говорил он, застывший. – Владыко, прости беззакония наша; Святой, посети и исцели немощи наша.

А когда после сказанного священник крестился да кланялся, то и все крестились да кланялись вслед за ним, втайне желая исцеления немощей, прощения беззаконий, помилования, призрачного, никому неведомого, но такого желанного помилования. Ах вы, неприкаянные, с тяжестью в сердце, с болью! Да кто же помилует вас, кто же простит, если сами вы себя не простите и не помилуете! И кем же являлся странный чужак, умевший творить чудеса, принесший столько страдания и столько похотливой радости, как не воплощением вашей задавленной надежды, вырвавшейся, вырванной на свободу, обретшей плоть и кровь, продолжением вашей сущности, вашей тёмной стороны, которую не в праве вы ныне отвергать – вашим неизбежным завершением. Да был ли он, в самом деле, этот *своенравный бес*, или всё – только плод утомлённого сознания, подверженного временному помешательству от невозможности более терпеть, и *своенравный бес* – вы, и вы сами творили чудеса?..

Тимофей завершил. Тогда к телу осмелился подойти одиннадцатилетний сын Петра Сергеевича, бывшего тут же, дабы удовлетворить свой интерес. Мальчик вёл себя чрезвычайно возбужденно, восторженно, несмотря на всю очевидную скудность случая. Приблизившись, протянул дрожащую, тонкую ручку, чтобы прикоснуться – для удовлетворения своего любопытства, – но священник вовремя схватил его за запястье, причём довольно грубо. Мальчик ни грубости, ни тупой боли, затем остав-

шейся в руке, не заметил. Поглядел как-то рассеянно, не на обидчика, а прямо перед собой, невидящим, зачарованным взглядом, пробормотал:

– Моя мама тоже *такая же* станет, – и быстро, порывисто отошёл к отцу, укрывшись от любопытных взоров за его сгорбленной спиной.

На кладбище гроб несли вчетвером, установив тяжкую ношу на двух палках, поперёк. Переднюю удерживали Пётр Сергеевич и пророк, заднюю – двое крепких, ладных молодых людей, специально для этой цели нанятых. Гроб постоянно кривился, заваливался передней частью – старики не справлялись, однако уступить не желали.

Шли медленно, четверо уставших, онемевших людей, потных от солнца и натуги, да с ними пятый – мертвец. Позади следовали остальные, прибились и местные зеваки (в Городище давно не хоронили с подобными почестями – здесь вследствие обстоятельств и лихорадки, унесшей немало жизней, сложилось совершенно особенное отношение как к самой смерти, так и к её жертве и к непродолжительным проводам; священник, приписанный к поселению, пытался поддержать в прихожанах прежний дух и соответственное понимание смерти, призывая всех к нему почитанию да радости – но разве устоять немощному отцу Тимофею с его видениями против того унылого, безнадежного настроения, которое прочно утвердил недавний мор!).

Ветер хлестал нещадно, играя прядями волос, цепляясь за одежду – и такое вольное его поведение радовало, потому что хоть немного спасало от палящего солнца. На лицах у всех почти были слёзы – не от осознания утраты, ибо утрата означала освобождение, не от уныния, ибо многих смерть эта втайне, стыдливо веселила, не от физического напряжения или лихорадочного чувства безысходности – только от ветра и обжигающих солнечных лучей.

Кладбище было разросшееся, так что до самой кромки леса не разглядеть его окончания. Кое-где на его территории, среди могил, стояли заброшенные дома – всего четыре или пять изб, все неухоженные. Иногда в них находили ночлег бездомные, но нечасто, всё же мало кто отважится ночевать по соседству с покойными.

Могила, заранее приготовленная к процедуре погребения, располагалась с краю, тесно зажата слева и справа другими таким же могилами. Слева покоилась молодая женщина, изведённая лихорадкой, под большим гранитным памятником, справа место было безымянным, без креста и ограды, однако возвышение ясно говорило о том, что кто-то нашёл здесь пристанище. Вероятно, бродяга, каких в этих краях немало, одинёшенький, неимущий, отправившийся на поиски счастья или дома.

Гроб опустили верёвками, затем веревки выдернули и стали говорить – говорили много, говорили стыдливо, почти шёпотом, стараясь не упоминать ничего плохого, ничего лишнего,

известно же, что о мёртвых «или хорошо, или ничего».

Первым взял слово Пётр Сергеевич, избранный старейшиной вместо умершего – ему вверили все хозяйственные и общественные дела в селении, потому он обязан был выступить с речью.

– О покойниках не принято говорить плохо, – начал он. – Но я же не могу ничего не говорить (гул робкого одобрения). Никита Иванович на протяжении многих лет являлся старейшиной в деревне, и хотя в последнее время он отошёл, казалось, от всяческих дел – обычай, им созданные, соблюдались неукоснительно. Вероятно, они были не слишком хороши, однако многие из нас вынуждены были принимать участие в их исполнении. И что же, что принесло нам это исполнение, какие плоды?

Все мы иссохли – нашей вины в том нет. По крайней мере, нет смысла винить себя, ибо мы готовы для новой жизни. Среди нас есть люди, отправленные на тот берег именно за этим – начать новую жизнь. Я о тех, кто вышел к нам из бывшей колонии поселения. Знали ли вы, что и покойный некогда был на поселении? Ему не удалось отказаться от зверя в себе – так удасться нам.

Что же ещё? Многие скажут, что завершение – это всегда упадок, истощение и смерть. Скажут, любая история и всякая жизнь плохо заканчиваются, ибо заканчиваются они смертью. Но что, если смерть есть избавление, возможность начать нечто новое? Мне думается, каждый человек в своём существовании стремится к счастью, и завершение говорит нам о том, что такого счастья он наконец достиг. Для Никиты Ивановича единственным счастьем мог стать покой и прощение – надеюсь, он обрёл теперь и то, и другое.

Пётр Сергеевич замолчал, пустой и взмокнувший. Место его занял отец Тимофей. Он сказал совсем мало и не так, как прежде, но искренне:

– Да простятся ему грехи его. И тот грех, о котором большинство из нас догадываются, хотя наверняка и нельзя утверждать – по отношению к детям своим. Пусть и этот, самый тяжкий грех, простится!

Приглашены были могильщики, стали закапывать. Провидец и Пётр Сергеевич, по обычаю, бросили в яму по три горстки земли. Земля была податливой и рыжей, прилипала к рукам, растиралась, растекалась, подобно сухой крови. Не отмоются. Хоть и прощены, кажется, а всё-таки... никогда не отмоются.

Пророк вдавливал, втирал эту землю в кожу, тупо рассматривая грязные свои пальцы. Думал о том, что замысел его воплотился, сон обернулся реальностью. И что отныне всё будет по-другому, но сам он превратился теперь в кровного брата покойного.

Тут же произошло небольшое замешательство, потому как крест, предназначенный для изголовья, позабыли в церкви, и совершенно никто не обнаружил данной оплошности вовремя.

Двое вместе со священником, необыкновенно вымотавшимся за это утро, отправились обратно, за крестом, остальные вынуждены были ждать на ветру и солнцепёке. Зеваки постепенно разошлись, не привыкшие к столь долгим процедурам, а вскоре всё закончилось. Разошлись, разъехались, чтобы никогда более не вспоминать о ненавистном мертвце.

ЭПИЛОГ

1.

Из авторского дневника, последняя запись:

«И всё же мне не удалось.

Я начал рассказывать об отце Павле, а завершил совсем другой историей, в которой Павел появился лишь два-три раза, никак почти не влияя на события. Быть может, какой-нибудь более умелый биограф заполнит впоследствии этот пробел, а пока так уж вышло, что жизнь в селении за рекой увлекла меня куда больше, чем поступки сельского священника.

Мне остаётся утешать себя тем, что и события в селении за рекой имеют определённую значимость – они стали своего рода предвестником того скандала, который разыгрался в епархии чуть позже и о котором все теперь говорят: я же этот скандал и все судьбы, с ним связанные, описать попросту не могу. Уж больно много всего понамешано, придётся тогда рассказывать о лихорадке в Мёртвом Городище, и о множестве других, более мелких происшествий, которые подготовили почву для дальнейшей драмы. Увы, ни сил, ни умений мне не хватит. Самое-то главное, широты ума и взгляда не хватает, ведь всякая история имеет бесчисленное множество параллельных предысторий, и все они сливаются воедино лишь под конец, как в хорошо слаженной симфонии.

От Павла я уходил в ноябре, когда совершенно оправился, и последний наш с ним разговор помню дословно (вообще слова священника я по ходу книги вкладывал то в мысли пророка, то в авторский текст – говорить Павел умел очень хорошо, мне подчас не хватает стройности его речи).

Да, помню тот ноябрь. Было холодно и промозгло, а накануне нашего разговора как раз выпал снег – лежал такой белой пеленою, тоску наводил отчего-то.

И Павел уж задолго до того выздоровел, и касательно проверки икон дело вроде как замяли из-за смерти Теофила. Обстоятельств этой смерти не знаю, слышал только, что хоронили его в один день с Никитой Ивановичем К. Ходил слух, будто епископа вздернули на воротах храма, но верится с трудом. Одним словом, Павел избавился от угрозы отлучения и был до крайности рад, а предсказание, данное ему пророком, пояснил следующим образом: пророки, мол, всегда изъясняются иносказательно. «Умер я – прежний, – говорил он. – Вообще, пока человек не совершит что-то

мерзкое, на грани его собственной, внутренней сущности, не переступит эту грань – он не просветлеет. Пророк же упрямо, терпеливо толкал меня преступить, пока во мне не возродилась острая, нестерпимая потребность в вере и боге. И действительно вышло, что прежний я умер». Вероятность того, что у страшного предсказания просто срок не вышел, Павел не учитывал совершенно – от радости, что ли. А впрочем, кто нынче станет верить всяким пророчествам – смешно просто.

И вот ещё что говорил Павел, и слова эти отпечатались во мне навечно: «Замечали, что при упоминании вслух слова «счастье» в нас просыпается всякий раз рваная, болезненная грусть – отчего это? А оттого, что счастья не следует искать, оно – случай. И мы так жаждем, чтобы появился некто, кто принесёт нам это сладкое, пьянящее ощущение – полное, целиком, отдаст его в наши трясущиеся руки, вложит в сердца, выжжет в бедной, искалеченной утратами памяти, и ничего не потребует взамен, потому что всего лишь хочет всех-всех осчастливить. Так неужели мы думаем, что он действительно ничего не потребует взамен? О, мы падки на подобную доброту, ибо устали скитаться, да ещё творим преступления от усталости. Так ведь нас за это непременно накажут, за преступления-то! Тот же, который хотел осчастливить, и накажет. Мы остушились, и понимаем, что остушились – а какое ему дело до нашего понимания? Ему нет дела до нашего понимания, ибо он пришёл творить чудеса, мокрые, гадкие – его чудеса лишь нереальное, воспалённое продолжение нашей жизни. Я вот слушаю все эти рассказы о чудотворце и думаю, да был ли он, этот своенравный бес, или всё – только плод утомлённого сознания, и своенравный бес – мы, и мы сами творили чудеса? И кто теперь нас простит, если мы сами себя не простим? Но и кто накажет нас, если не мы сами? А наказывать-то себя мы не любим, вот и вступают в дело игры мозга. Зато мы все хотим, чтобы нас простили, а мы в то же время доползём до самой вершины мироздания и там царьками устроимся. Только вот что поделать, когда вершина вдруг оборачивается дном и ты не в состоянии отлипнуть от этого дна? Что поделать, когда стремишься ввысь и вдруг тонешь, понимая, что и прежде, всегда, не летел, а лишь опускался всё ниже, ослеплённый самообманом и песком, поднятым пустым телом твоим со дна? Что поделать, когда предмет всех твоих желаний – песок, и ничего в душе, кроме песка?». Так сказал мне Павел перед моим уходом. Может, действительно внутри у него происходили какие-то изменения в лучшую сторону?

Вот уж не знаю. Не знаю. Так или иначе, разошлись мы с ним не очень хорошо».

2.

Фрагмент служебной записки:

Указанная рукопись была найдена в северном поселении, в заброшенном доме, и доставлена в следственный комитет в связи с рас-

следованием обстоятельств смерти епископа ...ского Теофила. Прямой связи между его смертью и событиями, описываемыми в тексте, не обнаружено.

Не удалось установить и авторство рукописи, хотя вместе с ней был найден дневник, наиболее сохранные части которого также приложены.

Текст направлен в епархиальную комиссию для дополнительного исследования. Далее приведена краткая справка о людях, которые упоминаются по тексту:

Теофил 11 июля прошлого года во время посещения храма на окраине столицы был убит неизвестными. Храм подвергся разорению, епископ, пытавшийся защитить церковное имущество и святые иконы, был повешен на воротах¹¹.

Некто пророк – сумасшедший из деревни за рекой по имени Пётр. В данный момент живёт в наследственном доме и утверждает, что исцелился от своих видений.

Екатерина Петровна – его дочь, по слухам, приёмная. Сейчас живёт в Городе, замужем за упомянутым Даниилом К. Сам Даниил после непродолжительного пребывания в церкви отца Павла попал в психиатрическую больницу для лечения.

Отец Тимофей, архимандрит из шахтёрского городка, умер в начале декабря прошлого года.

Каких-либо фактов, подтверждающих существование местного чудотворца, не нашлось, из чего можно сделать вывод, что никакого чудотворца и не было никогда, либо он исчез бесследно.

¹¹ Подробнее об этом во второй и третьей частях трилогии.